

Сергей Волконский

Разговоры (сборник)



Сергей Михайлович Волконский

Разговоры (сборник)

Аннотация

«– О чем?

– Обо всем.

– Ну, как же обо всем?

– Обо всем, о чем я в то время думал.

– В какое время?

– Пока писал.

– А когда вы писали?

– В прошлом сентябре и октябре.

– В два месяца?..»

Содержание

1. «Разговоры»	4
2. Определения	14
3. Нева	36
4. Приемный день	52
5. Чернозем	69
6. Былое – Павловка	87
7. Звезды	128
8. Былое – Фалль	135
9. Сумасшедший	152
10. Вокруг света	163
11. За рубежами	182
12. Вечер мелоластики	192

Сергей Волконский

Разговоры (сборник)

1. «Разговоры»

Брату Петру

– О чем?

– Обо всем.

– Ну, как же обо всем?

– Обо всем, о чем я в то время думал.

– В какое время?

– Пока писал.

– А когда вы писали?

– В прошлом сентябре и октябре.

– В два месяца?

– Что – в два месяца? Книгу? Книгу в один месяц... Что вы смотрите. Хвастаюсь? Ну, конечно, я не скажу, что «в один вечер», или там... «Юрий Милославский»... «Барон Брамбеус», а все-таки «у меня в мыслях легкость необыкновенная».

– А в суждениях?

– Боюсь, что не меньше вашей.

– Это было бы трудно.

– Я знаю. Читатели всегда солидны, только авторы бывают легкие.

– Нет, все-таки, что же у вас в «разговорах»? По заглавиям не видать.

– По-моему, отлично видать.

– Так я не про содержание, я про связь. Какая связь между предметами разговора?

– А разве может не быть связи? Между мыслями разве может не быть связи? Мысли всегда связаны.

– Позвольте, ну чем, например, связаны?

– Мозгом, из которого они вышли. Если вы будете брать мысли, так сказать, разбежавшиеся, вы их никогда не свяжете в пучок. А вы берите их в момент рождения. Чем связаны два брата?

– Так что это – семья?

– Разношерстная, но с сильным отпечатком фамильного сходства.

– В чем же сходство, если мысли разношерстные?

– В тех неуловимых причинах, которыми обуславливается их чередование.

– Мышление?

– Приемы мышления.

– Так это автопортрет?

– Нисколько. Какой же автопортрет, когда разговор. Ведь для разговора нужны двое... по меньшей мере.

– Да, но обыкновенно в «разговорах» одна чаша весов пе-

ротягивает другую, и это всегда та, на которой уселся автор.

– Нисколько, полное беспристрастие.

– А кого же вы больше любите из ваших разговаривающих?

– Больше всего люблю моего приятеля и собеседника в первых двух и последних трех «разговорах».

– А вот я вас и поймал: вы говорите *ваш* собеседник. Значит, другой-то вы сами, автор?

– Так этого я не скрываю, а только я говорю, что в изображении я не гну в свою сторону. Обыкновенно в диалогах один умный, а другой – идиот, и идиот только для того существует, чтобы идиотскими вопросами вызывать на умные ответы.

– А у вас?

– Приятель, о котором я говорю, никогда не менее умен или менее блестящ, чем я сам.

– Однако вы скромны, как я послушаю.

– А разве я сказал, что я умен, блестящ? Я про себя и не говорил; не говорил, потому что думал, что это вам неинтересно. Но если хотите знать, то я вам скажу, что я считаю свои способности... очень средними; но только я говорю, что способности моего приятеля-собеседника не ниже средних. Я никогда не пользовался моим авторством, чтобы топить моих собеседников, а если иной раз в спорах я и присуждаю себе победу, то согласитесь, что это весьма невинное баловство. Но и в самых горячих спорах, уверяю вас, сохраняю

равенство оружия, – тупятся мечи, но тупятся зараз.

– Ну хорошо, а чем же ограничено время вашего писания?

Вы говорите, месяц писали?

– А чем ограничивается время?

– Время?.. Звуком...

– Ого, да вы, кажется, и впрямь солидный читатель. Конечно, звуком делится, значит, и ограничивается. Но я хотел сказать: что ставит вехи, по каким верстовым столбам можно определять место своего временного нахождения?

– Верстовые столбы – события.

– Ну вот, и тут два «события», хотя и совсем не одинаковой ценности. Первая общая репетиция «Живого трупа» в Художественном театре, значит – середина сентября, и один Вечер художественных танцев, который имел место в зале Московской консерватории 18 октября. Последний «разговор» написан через два дня. Вы видите, – как раз месяц.

– А вы мне сказали, что как раз этот месяц вы были в разъездах?

– Вот именно: самое лучшее условие для писания. Ведь я пишу на машинке – в вагоне на коленях...

– Но все-таки я вижу как будто некоторое несоответствие...

– Между чем?

– Между заглавиями.

– И содержанием?

- Содержанием – не знаю, ведь я не читал.
- Так между чем же?
- Между самими заглавиями.
- Не понимаю.
- Ну, «Былое», например, что такое? Вероятно, воспоминания?
- Из семейной хроники.
- А «Приемный день»?
- Так, светская дребедень.
- Ну вот видите. И вам не неловко ставить семейные воспоминания рядом с дребеденью?
- Почему? Если они так удобно уживаются в моем мышлении, то почему же им не ужиться на смежных страницах?
- Да как же смешивать вымысел с личными воспоминаниями? Одно – вы, а другое – не вы.
- Вот это и неверно: все – я.
- Пережитое?
- Ах, нет, только не «автобиография».
- И не автобиография, и не автопортрет, а между тем вы говорите, что это вы. Что же тогда?
- Автоноэграфия.
- Это что же такое?
- Самомыслеписание.
- Ну и сочиняете же вы слова.
- А что мне делать, когда вы по-гречески не понимаете.
- Да вы и греческое-то, наверно, сами сочинили.

– Лучше для случая сочинить греческое слово, чем при каждом удобном или, вернее, неудобном случае коверкать русскую речь.

– Ну да, это, я знаю, ваш конек. Вы ведь протестовали против употребления слова «обязательно»...

– Там, где нет элемента обязанности? И продолжаю протестовать. Когда подсудимого на суде председатель спрашивает: «Что вы его, чем ударили? Ножом?», а тот отвечает: «Обязательно ножом-с», – то согласитесь, что такое понимание обязанности заслуживает протеста.

– Вы также протестовали против «одевать пальто...»

– Вместо «надевать»? И продолжаю протестовать, и против пальто, и против рубашки, хотя один учитель и утверждал, что пальто, действительно, «надевается», но что нижнее белье «одевается». Я продолжаю «надевать» и то, и другое.

– Знаете, я думаю, что все эти «надевать», «обязательно» – все это тонкости, которых никто не замечает.

– Что их не замечают, с этим согласен, но как вы можете называть тонкостями?..

– Называю тонкостями языка.

– А я называю грубостями слуха. Уши наши грубы, вот о чем скорбеть надо, а тому, что дивный наш язык тонок, этому надо радоваться. Человек создал язык, но и язык создает человека. Тонкий инструмент мышления, он не может не иметь обратного действия на того, кто им пользуется. Я

думаю, что и вы очиненным карандашом будете лучше рисовать, чем тупым. Наши предки нам передали дивный, тонкий, тончайший карандаш, а мы его тупим, находим, что он для нас слишком тонок? И станет тонок; его очинили изгибы чужого ума, а наш ум этой тонкостью не хочет пользоваться? И зарастет. Вы не замечаете, что зарастают наши умы? Вы понимаете, к чему ведет непользование орудием, непользование каким-нибудь органом? Атрофия знаете что такое? На одном острове Полинезии были жуки такие крылатые; они летали, а ветром их уносило в море; так они стали воздерживаться от летания; через несколько поколений уже воздерживаться не пришлось – крыльев не было, так, болтались плавники какие-то. Вот и мы утратим способность летать.

– Язык – живой организм, от развития его не удержите никакими педагогическими приемами.

– Искажение не есть развитие.

– А по-моему, искажение – такой же рост, как и совершенствование.

– Так за правильностью роста должен быть надзор.

– Что ж, отдать язык в исправительное заведение?

– Хотя бы. У нас есть Академия. Следила бы за живою речью, за тем, что вы называете «ростом»; издавала бы бюллетени, в которых бы пригвождала на черную доску такие позорные проявления «роста», как «одевать пальто» или «анкета». Знали бы люди, от чего воздерживаться. Ватикан издает *Index librorum*, список запрещенных книг, – это быш бы

Index verborum, список запрещенных слов. А у нас только сокрушаться умеют.

– Послушайте, вы проповедуете насилие.

– Какое насилие? Предоставляется всякому. Но по крайней мере будут люди знать. Вы в жизни больше «насилий» делаете. Если у вас нарядный вечер, а к вам придет человек в смазных сапогах, не думаю, что вы его в гостиную примете.

– Не приму, но и не буду на него фрака напяливать.

– Но и сами не променяете фрак на смазные сапоги?

– Нет, потому что мне во фраке удобнее.

– Ну вот вы и сказали слово. Надо, чтобы всем стало *неудобно* говорить «анкета» вместо «опрос», «ангар» вместо «сарай», «обязательно» вместо «непреренно», «мерси» вместо «спасибо» и «комфортабельно» вместо «удобно». А смазной сапог в гостиную не пускать.

– Ну знаете, говорить против смазного сапога!..

– Я не в классовом смысле. Пожалуйста! Я в смысле эстетической оскорбительности. А в смысле классовом, то есть в смысле родителя новых обогачений, помилуйте, не только смазной сапог, но и лапоть приветствую, даже лапоть больше сапога, потому что он ближе к корню и дальше от того, что именуется «интеллигенция». Разве не драгоценнее, когда крестьянин вам говорит, что нашатырный спирт «душу за-тыкает», чем когда «интеллигент» вам заявляет, что он на «аммониачные соли реагирует спазмотическими сжатиями трахеи»?

– Мы, кажется, далеко ушли от предмета разговора.

– Если не ошибаюсь, предметом разговора были «разговоры»?

– Ну да, вот именно.

– Нисколько не ушли. Я же вам сказал, что мои «разговоры» обо всем. И как раз обо всем том, о чем мы сейчас говорили.

– Но и о другом еще?

– И о многом другом еще, но я только отвечал вам на ваше опасение, что мы уклонились.

– А о другом мы не поговорим?

– Нет, нет, нет. Я и так слишком много сказал. Это, знаете, в балаганах так «зазывают» – клоуны и фокусники самые лучшие свои номера на крыльце показывают, а войдете внутрь – и смотреть не на что: уж все видели на улице. Нет, нет, любопытствуете, так можете почитать. Уж я в барабан бить не буду, как на французских ярмарках, расхваливая свой товар.

– А за вход что берете?

– Благотворительный сбор.

– В пользу?

– Доброжелательства, юмора, улыбки, смеха, красоты, памяти прошлого...

– Разве они нуждаются в поддержке?

– У нас, в России? А то!

– Против кого же?

- Против Задней Мысли.
- Ах она мерзкая!
- Мерзостная!!
- Так я вам с удовольствием... Сколько прикажете?
- По желанию.
- Все, что имею... Можно войти?
- Я начинаю!

Москва,

27 октября 1911

2. Определения

Сергею Константиновичу Маковскому

– Однако второй час.

– А вам куда?

– Да домой.

– Ну так сидите, и мне тоже домой. Человек!.. Еще кофею.

Коли домой, так, значит, некуда торопиться... С вами отчего приятно? Оттого, что как-то... плаваешь в одних и тех же водах; хоть и курс плавания другой, а все по тем же волнам.

– По одним волнам – не знаю, но по крайней мере пребываем в одной стихии. А то с человеком говоришь про искусство, а он отвечает про химию.

– Лучше про химию, чем про патриотизм.

– Ну, от этого вмешательства в эстетику мы, кажется, вылечились.

– Не говорите, не говорите. Шовинизм в искусстве...

– А вы любите, когда говорят: «Не скажите»?

– Обожаю; я всегда отвечаю: «Не беспокойтесь, не скажу».

На что мне неизменно возражают: «Но ведь вы уже сказали». – «А зачем же вы в таком случае меня предупреждаете?» Это все равно что человеку, лежащему в канаве, сказать: «Не упадите».

– Знаете, что можно было бы составить преинтересную

книжку о получивших право гражданства искажениях русского языка.

– Еще бы, в особенности об искажениях, введенных так называемыми интеллигентами. А кстати, вы понимаете, что значит слово «интеллигент»? Для меня оно совершенно темно.

– Темно? Не знаю почему. Оно отвратительно по этимологическому происхождению, по уродливому превращению французского прилагательного в русское существительное, но если оно и не имеет, так сказать, смысла прирожденного, то, во всяком случае, общим употреблением значение его определилось.

– Определилось? Когда мне говорят, что на селе у меня кузнец – мужик интеллигентный, а в газете я читаю, что найдено мертвое тело неизвестного человека, судя по одежде – интеллигентного, это, по-вашему, определено?

– Вы чересчур прижимаете к стене; это диалектика, а в душе вы отлично понимаете и слово, и то значение, в котором оно употребляется.

– Да не в том дело вовсе, понимаю ли я или нет – немудрено и понять, в конце концов, когда вам навязывают и навязывают; если я что-нибудь понимаю, то это моя скромная заслуга, а не свойство слов. Я только утверждаю, что смысл этого слова неопределенен, туманен, висит в воздухе, как, впрочем, многое, что происходит из этой среды.

– Из какой среды?

– Из интеллигентов.

– А, вот видите, вы отлично знаете, что значит «интеллигент».

– Ну, положим, что знаю; сдаюсь. Но они сами-то от этого разве определеннее?

– Да отчего вы говорите «они»? А вы сами-то разве не интеллигент?

– Послушайте, я мог бы рассердиться, но вы сказали, – мы пребываем в одной стихии, и я знаю, что вы это нарочно, чтобы дразнить меня.

– Сдаюсь и я. Вы не интеллигент.

– Очевидно нет; я дворянин, разночинец, адвокат, художник, все что хотите, но не интеллигент.

– Да, но по их понятиям...

– По чьим понятиям?

– Интеллигентов.

– Ах, да. Ну-с, так по понятиям интеллигентов?..

– По понятиям интеллигентов, «интеллигент» не есть указание рода деятельности, так как в каждом роде деятельности могут быть люди интеллигентные и неинтеллигентные...

– Ну да, как мой исключительный кузнец.

– Как прекрасно доказывает ваш исключительный кузнец. Не род деятельности, но и не сословие, так как и в каждом сословии могут быть интеллигенты и неинтеллигенты.

– Как прекрасно доказывает мой неопознанный мертвец.

– Вы невозможны.

– А что же тогда? И не род деятельности, и не образовательный ценз? Что же в таком случае?

– Скорее... образование...

– Пожалуйста! Сколько раз мы слышали: «Помилуйте, человек высшего образования, и кто бы мог подумать, что такой неинтеллигентный!» Нет, нет, вы отлично сознаете, что не знаете, что такое интеллигент. А теперь я вам скажу. Это слово – порождение классовой зависти. «Я не хочу быть тем, откуда вышел, не могу сделаться тем, куда и не хочу проникнуть, и вот я себя возвожу в сословие, именуя себя интеллигентом: из кого я вышел, те хуже меня, а кто себя считает выше меня, те ничем не лучше меня, напротив, они родились, а я сам дошел». Вот откуда это слово. Что оно значит, этого никогда никто не определит; этимологическое его рождение, как вы справедливо заметили, отвратительно, а психологическое его зачатие – это, как я вам сказал: стремление создать себе сословие; оно зараз осуществляет «эгалитэ» и «сюперiorитэ».

– Отчего вы так против интеллигентов?

– Против интеллигентов? Да если вы мне скажете, что такое интеллигент, я вам скажу, против них ли я и отчего. Но я знаю, что вы мне не скажете, и потому я вам скажу, что я ни против кого, а я против слова, но и против стремления обозначать им какую-то отдельную величину.

– Ну, однако, русская интеллигенция все же величина...

– «Интеллигенция»! И как это у вас язык поворачивает-

ся такое уродливое слово произносить. А величина? Этого я совсем не понимаю. Что вы этим словом обозначаете? Совокупность всех образованных людей в России? Ну так и скажите – «все русские образованные люди», или – «вся образованная Россия». Это для меня вполне ясно, я отлично себе представляю состав этой величины. В этом слове я *знаю*, кто передо мной проходит, и я с уважением снимаю шапку перед длинной вереницей людей всевозможных классов, сословий, поколений. Но когда я слышу – «русская интеллигенция», воля ваша, я ничего не вижу; за уродством исковерканного иностранного слова ничего не вижу; кто передо мной проходит, не знаю; а само слово мне представляется каким-то неврастеническим выкриком каких-то непризнанных, требующих признания; и когда мне говорят – снимайте шапку, я спрашиваю – кто вы такие? Как! Вы нас не признаете, вы нас не видите, вы нас не цените! Мы соль земли, мы те, которые движем вперед, мы те, которые проснулись, мы будущее, мы жизнь! Хорошо, хорошо, пожалуйста, не кричите. Я знаю, что есть люди, которые из себя представляют будущее и жизнь, которые просыпаются, когда другие спят, которые в себе воплощают движение вперед, но неужели они сами себя аттестуют? Вот чего я не могу понять. *Быть против* интеллигентов я не могу, когда я не знаю, что это такое; но я против тех, кто себя так именует. Я понимаю, что на флаге может стоять какой угодно девиз – как цель объединения, но флаг с самооценкой, – согласитесь, что это столь же

уродливо, как и то слово, которым он обозначается. Только вот что я вам скажу. «Я образованный русский человек» – это вряд ли у кого повернется язык сказать, а сказать: «Я настоящий русский интеллигент» – это сколько угодно, да еще горе тому, кто усомнится.

– Так что вы бы не обиделись, если бы вам сказали, что вы не интеллигентный человек?

– Обидеться? Я бы поблагодарил за отрицательную часть.

– Вы злы.

– А вы снисходительны.

– Две крайности. А в середине что?

– Бокал шампанского и «истина на дне».

– Вот, с вами всегда так.

– То есть?

– Да идешь, идешь – и ничего. А сами говорите, что плывем по одним водам.

– А вам что же, подводных скал недостает?

– Подводных не подводных, а хочется же берега.

– Ну, я люблю путешествие для того, чтобы ехать, а не для того, чтобы приезжать.

– А я люблю ехать, чтобы доехать.

– У каждого свой вкус, слава Богу.

– Да, слава Богу. Что бы это было!..

– Не правда ли? Если бы вы вдруг, при ваших воззрениях, к примеру, полюбили классицизм в театре!

– Во-первых, я ни разу не сказал, что не люблю его; не сказать, что не люблю, еще не значит не любить. А во-вторых, при чем тут воззрения?

– Как – при чем? Вы разве не замечали известного параллелизма художественных вкусов и воззрений... ну, скажем, социально-политических?.. Да что вы притворяетесь?

– Ничего я не притворяюсь, только вы меня огорошили этими «воззрениями», – при чем тут *мои* воззрения?

– Нет, уж извините, если идти, то идти по порядку. Сперва о воззрениях *вообще*. Вы согласитесь, что человек шестидесятых годов, типа ожесточенного народника, не скажу в некрасовском духе, потому что Некрасов сам был ли народником – это еще вопрос, а человек, у которого на знамени начертано имя Некрасова, который проникнут материалистическим отношением ко всем проявлениям человеческого творчества, у которого классовая ненависть поднимается до расовых размеров, – будет в искусстве ценить только то, что соответствует его воззрениям. В театре он будет любить «нутро» и «слезу», песню он будет ценить за текст, в картине видеть содержание, про итальянских мастеров говорить не иначе, как «ваши Рафаэли».

– Да тут и соглашаться нечего. Сколько раз мы про это говорили, всегда на этом сходились...

– Ну не соглашайтесь, сходитесь.

– Да схожусь, схожусь. Я вам даже больше скажу. Мне кажется, что по-настоящему, как немцы говорят, *im Grunde*

genomten, в сущности, у этих людей нет эстетического кодекса, а то, что они признают таковым, есть лишь реакция их социального кодекса на впечатления искусства.

– Знаете, я вас всегда считал умным, но вы, кажется, еще умнее, чем я думал... Однако, как говорит великий царь счастливых берендеев, «не уклонимся ж от главного предмета разговора». Вернемся к параллелизму между социально-политическими кодексами и художественными склонностями. Признайте, что человек восьмидесятых годов, типа слащавого народника, который верит, – то есть верит или не верит, кто его знает, – но, во всяком случае, проповедует, что русский народ есть особый, избранный народ, что он весь состоит из одних только «малых сих», который утверждает, что эта огромная темная масса есть носительница истины и что соприкосновение с Западом погасило в высших классах «то, чего не может дать никакая цивилизация», такой человек, конечно, будет закрыт всякому художественному впечатлению, не связанному с тем специальным елейно-умильным характером, который нашел свое выражение в религиозно-патриотических картинках генерала Богдановича. Для него собор в любом уездном городе будет ценнее Парфенона, готика будет ему представляться чем-то враждебным, а храм Св. Петра – воплощением зла.

– Да, но, знаете, между ними встречаются не скажу знатоки, но искренние «любители»; они доставляют большой контингент того, что называется меломанами; они со скромно-

стью именуют себя «прафанами» (через букву «а»), но они способны часто и искренно увлекаться.

– Совершенно верно, но могу вас уверить, что на каждое такое свое увлечение итальянской оперой или французской драмой он смотрит как на временное отступничество, которое надо замолить.

– Ну, знаете, теперь моя очередь сказать, что я вас всегда считал тонким наблюдателем, но вы, кажется, еще тоньше и наблюдательнее, чем я думал.

– Не благодарю, потому что это правда.

– А за правду, за приятную правду, разве не благодарят?

– Нет, потому что она всегда ниже действительности.

– Однако! Не за скромность вы в рай попадете.

– Пожалуйста! Мой девиз: «Humble quand je me considère, fiere, quand je me compare». (Когда оцениваю себя, – скромнен, когда сравниваю, – горжусь.)

– Но вы больше любите сравнения, чем размышления.

– Ну, конечно, я не скажу, как одна французская барыня, когда я ее спросил, чем она любит больше заниматься, – «Размышляю. Я очень люблю размышлять».

– Это прелестно! Синий чулок?

– И то неудачный – пятка торчала... Но, опять-таки словами доброго и нежного царя счастливых берендеев, «в сторону не будем уклоняться, на прежнее вернемся». Чтобы от воззрений вообще перейти к *вашим* воззрениям, признайте, что вы, как истинно русский человек...

– Нет, пожалуйста, о политике мы не говорим, во всяком случае, я не отвечаю.

– Что, я слишком глубоко копнул?

– И не глубоко и не мелко, а просто куда не следует. Мы, кажется, говорили о вкусах, о классицизме, а кто-то – только не я – свернул на «патриотизм».

– Едко. Но более едко, чем метко.

– Пожалуйста, рифмой не отделаетесь. Обстоятельство не доказательство.

– А это разве не рифма? А алиби разве не обстоятельство?

– Да, но рифма не alibi.

– Вот если бы вы не были заскоружлым реалистом, вы бы этого никогда не сказали.

– Чего?

– Что рифма не доказательство.

– А по-вашему, теорема? «Сомненье, волнение – что и требовалось доказать»?

– Ну как же вам не стыдно! Доказательство ad absurdum вовсе не такое уничтожающее, как принято думать, раз сказано: верю, потому что нелепо, credo, quia absurdum. Что касается рифмы, то ведь это одна из граней многогранного искусства, а что верно для целого, верно и для части, и если мы говорим о доказательности, об убедительности, вообще о силе *искусства*, то я имею право...

– Однако Толстой свой «Труп» написал без рифмы. И не слабо, могу вас уверить.

– Так мало ли что; он его и без музыки написал, это не значит, что музыка не сильна оттого, что Толстой без нее обошелся. Да, кстати, расскажите про «Труп».

– Что же рассказать, я его и не читал, и не видел.

– Да вы же ходили на репетиции Художественного – вы были «допущены».

– Ну да, отдельные сцены... даже по нескольку раз...

– Не скупитесь, не скупитесь. Какова пьеса?

– Вот уж не для вас: именно «пьесы» и нет.

– А что же?

– Прямо куски жизни. Люди обмениваются словами, кто поплачет, кто закурит папироску...

– Ну да, ну а содержание... события разворачиваются?

– Да, по-видимому; Москвин даже, кажется, стреляется. Но разве в этом суть? Мы в жизни разве видим события? Мы видим только людей – разговаривающих, закуривающих, смеющихся, плачущих людей. И вот что удивительно в этой пьесе (все же приходится говорить «пьеса», а то как же назвать), что даже слова не важны, не самое главное; важно не то, что они говорят, и не то, что они делают, – они ничего не делают, – а важно что с ними происходит.

– Влияние Чехова?

– Влияние... Можно ли говорить о «влиянии», когда Толстой? Но... веяние... эволюция... Во всяком случае, Чехов предшественник. Только письмо этой вещи совсем особенное: именно «театра» нет; в смысле жизни – все, а в смысле

приемов сцены – ничего. Как говорит Немирович, «гениальная банальность». Они говорят, что у них никогда не было более трудной задачи: все из ничего. Знаете, я бы сравнил фактуру, ткань этой пьесы с квинтетом в музыке, – какое-нибудь анданте Моцарта: шестнадцать струн – и вся душа. Не знаю, есть ли это шаг вперед, но это, конечно, совершенно в сторону, от всего. Воображаю, какой-нибудь Александр Дюма сколько бы напустил речей в такую тему; как бы он *осветил* «вопрос» со всяких *точек зрения*. Была бы точка зрения мужа, любовника, жены, матери – обеих матерей, сперва одной, а потом другой, – а над всем этим – князь Абрезков – резонер, знающий жизнь и свет и приглашающий «общество» – а по-настоящему бедного зрителя – призадуматься над тем, что оно видит, и разобраться в том, что оно слышит... Нет, вы увидите – что-то совсем непохожее... иное... не играется, а как-то свершается, в подводности невидимых течений.

– Да, это может быть интересно, только...

– Что – только?..

– Ничего. А как играют?

– Ну, это как же я могу сказать.

– Ну, как *будут* играть, – ведь обрисовывается.

– Да не могу я про это говорить, как же вы не понимаете.

Это было бы злоупотребление доверием.

– Какая щепетильность! Впрочем, я отлично знаю, как они играют.

– А вот чего вы не знаете, это как они репетируют. Вот бы вам посмотреть.

– Где уж, разве нас, классиков, «допустят».

– Совершенно напрасно думаете. Это одно из многих предубеждений – замкнутость Художественного театра для всего иного, чем он сам. Два доказательства налицо: «Гамлет» в постановке Крэга и введение системы Далькроза в программу драматической школы.

– Да, и то и другое очень интересно... Да, Станиславский всегда был человек идеи.

– И в лучшем смысле слова. Вы знаете, что Далькроза он не видал, он уверовал заочно.

– Да, знаю... но не понимаю.

– Чего?

– Многого не понимаю. Не понимаю Крэга, то есть Крэга в Москве, не могу себе представить сочетание москвичей с английским эстетом; и не понимаю ритмическую гимнастику в Художественном, не вижу ее слияния ни с репертуаром, ни со способом игры.

– Отчего же, например, вы не представляете себе Крэга в Москве?

– Послушайте, Крэг – последнее слово эстетической изысканности, отрешенности от действительности. Да, кстати, вы видели его декорации к «Гамлету»?

– Видел декорации, если это можно назвать таким именем.

– И что же?

– Это нечто надмирное, уносящее вас вон из условий пространства и времени.

– Ну вот видите; и в такую обстановку «вне условий» войдут наши обусловленные москвичи?

– Войдут, и я уже видел, как входят.

– Да ведь войти не довольно, надо и ходить.

– И пойдут: я видел, как ходили.

– Я вам вот что скажу: театр как стиль, – стиль не в смысле обстановки, а в смысле *способа*, – очень растяжим, не спору, но все-таки на двух концах его всегда то же самое: на одном конце – смазной сапог, на другом – котурна, на одном – картуз, на другом – шляпа с пером. Сами решите, к чему из двух Художественный театр ближе.

– Да к чему бы ни был ближе, почему и не стараться от одной полярности идти к другой?

– А если вы на это смотрите с точки зрения опыта, то в добрый час; только не требуйте, чтобы все верили в результат. Московский театр – это калач, Крэг – ром, и сколько ни поливайте, как ни воспаляйте, плум-пудинга не будет, а калач испорчен.

– Ну, знаете, аллегории хороши *post factum*, задним числом, а не в предсказаниях.

– Моя аллегория *post factum*, она выражает мое ожидание.

– А я верю в результат. Я верю в картинность, в которой вы так сомневаетесь; верю, потому что уже видел. Я видел

первую картину «Гамлета» – декорацию и людей в костюмах – и не забуду: в лунном полусвете и в архитектурном полумраке эти рыцарские тени – сходятся, расходятся, появляются, пропадают.

– Говорили?

– Нет, еще не говорили; без слов жили.

– Без слов лучше. Но нужно, чтоб было очень хорошо.

– Уверяю вас, что было хорошо. Я вам говорю, вы не знаете, как они репетируют. У них такое чувство жизни, что не может не быть красиво.

– Все это так, но без техники жеста не может ничего выйти.

– У них техника чувства. Вы не можете себе представить, что это такое, когда на репетиции сидят человек пять вокруг стола, молча глазами впиваются друг в друга, глядят каждый из своей роли и почти без слов, а иногда и своими словами, полупшепотом ведут сцену, настраивают себя, друг друга магнетизируют...

– А заговорят – половина чувства уйдет, как уходит влага из скважины сосуда; уйдет, потому что техники нет.

– Да что вы все «техника» да «техника». Гёте сказал, что техника искусству вредит.

– Извините, цитировать так цитировать. Гёте говорит: техника в *конце концов* становится пагубной для искусства, а это совсем другое: это значит – «сама техника», «даже» техника.

– Ну, вы мастер пригибать чужие слова к своей мысли.

– Я только исправил вашу неточность, а *мне* чужих слов не надо, чтобы утверждать, что для осуществления красоты на сцене нужны или серьезное техническое воспитание, или Далькроз, причем...

– Ну и будет Далькроз.

– Причем в первом случае всегда есть опасность впасть в трафарет, так что остается один Далькроз.

– Ну и будет Далькроз; уж он введен в школу. Да, впрочем, я уже говорил вам. Только вот что я вам скажу. Я, конечно, совсем не разделяю ваших сомнений насчет способностей Художественного театра в смысле переимчивости нового, – не разделяю, потому что знаком с ним ближе, чем вы, – но я, признаюсь, не понимаю применимости ритмической гимнастики, – которая ведь есть сочетание движения с музыкой, – не понимаю ее применимости в таком искусстве, где музыки нет.

– Нда, это вопрос, который смущает многих. Видите ли, на систему Далькроза надо смотреть с двух точек зрения: воспитание и сценическая применимость. Относительно первого вы, конечно, не сомневаетесь. Относительно второго, – очевидно, что там, где есть музыка, там система применима с большей непосредственностью; но там, где музыки нет – в драме, – можно посмотреть на ритмическую гимнастику и с третьей еще стороны. Ведь музыка – регулятор движения. Почему бы не задаться – ритмически поставить целую драму, греческую трагедию например? Почему бы не

подложить музыку под текст и все движения не разучить согласно ритма этой музыки, которая сама была бы музыкальным выражением стихотворного ритма?

– Понимаю, музыка была бы тогда чем-то вроде невидимого режиссера?

– Вот именно, – на репетициях *она* будет режиссером. Она будет играть роль той бумаги, которую дамы подкладывают под шитье, когда вышивают на пяльцах.

– Но тогда жаль будет на представлении ее убрать.

– И не надо, совсем убирать не надо. Во время хоров, например, она может оставаться, а во время остального действия она может то усиливаться, то ослабевать, иногда совсем пропадать, для зрителя, а для исполнителя будет всегда оставаться слышима как далекий регулятор. И подумайте, какое могучее средство в этом чередовании звуковых усилений и ослаблений, в этом качественном и количественном сопровождении характеров, событий, вообще – *действия*.

– Да, красиво.

– Не только красиво, а сильно, могуче, глубоко, разнообразно до бесконечности. Впрочем, вы правы, ведь это и есть «красиво»... Ну, понятно, вы *этого* всего не введете в «Труп». Я вовсе не ставлю эту невозможность минусом для пьесы Толстого, но я ставлю минусом нам всем – публике, артистам, писателям, деятелям сцены, – что мы не жаждем иного, что мы довольствуемся тем, что видим.

– Чего иного?

– Да я не могу больше смотреть на ваш реальный театр, не могу больше видеть эти папироски, эти спички, которые зажигаются и бросаются в камин с такою «естественностью», как будто в жизни», эти допитые и недопитые стаканы чаю «с лимоном или без лимона». *Я не хочу* видеть повторения жизни, дайте мне на сцене то, чего в жизни нет. Человек *может* осуществить, зачем же он не осуществляет? Зачем он своим телом осуществляет сморкание в пальцы, когда можно воплощать стремление души? Вот чего я не понимаю. Что столь малым довольствуются, что на этом мирятся, что выше этого не поднимаются вожделения и что восторги партеров и райков не зажигаются более ценным огнем. Боже мой, что мы только теряем, чего себя лишаем!.. Вот приедет Далькроз со своей школой, вы увидите, что такое человек, когда он повинуется музыке. Наша опера, наша драма – все это лишь намек на то, что могло бы быть. И то, разве минус может быть «намеком» на плюс?.. Впрочем, понемногу начинают понимать. Вы знаете, что Макс Рейнгардт предложил Далькрозу поставить хоры для предстоящей постановки «Орестеи» в Мюнхене?

– И что же?

– Отказался.

– Почему?

– Потому что для того, чтобы иметь ритмический хор, надо иметь ритмических хористов. И что же, наконец, за зрелище, когда хор будет ритмичен, а во всем остальном будет

произвол случайности? Подумайте, какой «ансамбль» – чтобы употребить ужаснейшее любимое слово наших рецензентов.

– А я на днях читал интересную заметку. Одна из московских газет давала рецензию о дебюте баритона Бакланова в «Демоне». Подчеркивая успехи, которые певец сделал за время пребывания в Америке, рецензент ставит вопрос: уж не пошел ли он по стопам Жака Далькроза, «русским адептом которого является князь Волконский»? До такой степени, оказывается, поражает в нем соответствие ритмики пластического движения с ритмикой музыкального движения.

– Интересно, что в газете на эту сторону искусства обращено внимание.

– Не правда ли? Я сейчас подумал о вас. Ведь это в первый раз намек на ритмику.

– В газете – да, в первый раз, но это не первое указание в нашей литературе.

– А? Уже были указания?

– Были, были... Прежде всего, у Вячеслава Иванова много об этом, но еще смутно: «пляска», «ритмически движущаяся толпа»... Только все это в связи с «соборным действием»...

– Ну да, чепуха.

– Нет, нет, нет – не чепуха. А только я еще не дошел до этого, понимаете, *сам* не дошел. Я не могу считать своим то, до чего другие дошли, пока не дойду сам. Понимаете?

– Понимаю вообще, но в данном случае?

– А в данном случае вот что: «соборное действо», «преодоление сцены» и подобная, как некоторые говорят, «чепуха» казались мне всегда чем-то трансцендентным, далеким, таким, что другие выдумали и ведут мне навстречу; когда же я увидел ритмическую гимнастику, я понял, что я сам иду к этому: я вполне ощутил «соборность» действия.

– То есть?

– То есть что это не *они* производят, а я, мы, все; что это только случайность, что я сижу и смотрю, а на самом деле нет разницы между мной, смотрящим, и ими, производящими.

– Однако они *умеют*, а вы бы не сумели, если бы вздумали к ним присоединиться?

– Это придет. Когда проникнет в плоть и кровь, тогда и «уметь» не надо будет, достаточно будет *быть*.

– Ох, страшно за вами идти, начинается неясное...

– Ну, когда приедет Далькроз со своими учениками...

– А когда?

– Первое представление в Художественном 15 января...

Когда он приедет, вы сами почувствуете, что вы не зритель, а участник, что вы «смотрите» только потому, что есть для вас место...

– А в театре – разве я могу «смотреть», когда места нет?

– Ах, не то, не то... Дело не в факте, а в принципе. Понимаете, это как в философии: механическое представление о вселенной несовместимо с понятием о божестве...

– Это почему?

– Потому что если *все* сущее – машина, то нету места для машиниста. Переводя это на почву живого искусства, о котором говорим: если *все* действуют, то нету места для зрителя. Это есть неминуемое «упразднение зрелища». И вот уже «выхождение из временного и погружение в безвременное», как говорит Иванов.

– Может быть. Но *пока* я предпочитаю старый способ – билет, за который я заплатил, и место, с которого я могу не только смотреть, но и видеть.

– Есть и для этого уже указание, менее принципиальное, чем у Вячеслава Иванова, но более конкретное, более близкое современному «зрителю».

– Более «для меня»?

– Было ли еще – не знаю, но одно было. Я, по крайней мере, видел только одно. Человек описывает спектакль, который он видел в Париже, какая-то мистерия из жизни Христа, – исполнение, трогательное, проникновенное, произвело на автора впечатление. «Но, – говорит он, – во сколько раз больше было бы впечатление, если бы вместо ненужных слов мы слышали музыку и видели ритмические движения». Это единственное указание, которое мне попало.

– И кто это?

– Александр Бенуа... Послушайте, кажется, татары тушат электричество.

– Ну что ж, идем. Человек, счет!.. А знаете, что Станиславский тоже говорит, что все идет к новому искусству без

слов.

– Он это говорит? Как это знаменательно, что такие уста налагают на себя зарок молчания. А мне рассказывали, как Дузе однажды, присутствуя на лекции одной англичанки, которая демонстрировала принцип равновесия человеческого тела, для чего принимала позы известных античных статуй, воскликнула: «К чему слова? Тело само говорит. Слова – лишний придаток».

– Как полны таинственности, неразгаданности эти голоса, от себя отрекающиеся... Что это? Признание в несостоятельности или... Рубль довольно на чай?

– Довольно. Надежда, надежда, мой друг, в этих словах надежда. Ну, до свидания... Повторим когда-нибудь?

– Обязательно.

– Что вы сказали?

– Виноват, – непременно.

– То-то.

– Пурист до конца.

– До гроба.

– Будут ли извозчики...

– Ах, какая ночь! Морская в летаргическом сне...

– Люблю тебя, Петра творенье!

– Извозчик, на Фурштадскую.

– Извозчик, Крюков канал!

Павловка,

15 сентября 1911

3. Нева

Барону Николаю Николаевичу Врангелю

*Последняя в реке блестящая струя
Жуковский*

- Я люблю эти маленькие пристани Финляндского пароходства... Правда? Эти плавучие буфеты...
- Да, это так вырывает из обстановки.
- Вот именно, пересаживает: без всяких усилий с вашей стороны полная перемена пространственных условий и зрительных отношений.
- Дальнее путешествие на близком расстоянии.
- В конце концов, это ведь принцип всякого «эффекта»: дальнее путешествие на близком расстоянии.
- Да. Как это верно и как это звучит бессмысленно!
- Очевидно, ничто не кажется бессмысленнее, чем те конечные формулы, к которым приходят люди друг друга понимающие. Ведь чем точнее, тем меньше слов, чем меньше слов, тем менее понятно для «посторонних». А мы окружены «посторонними».
- Но как я люблю это одиночество!
- О, великая вещь!
- Вот всегда говорят, в единении сила...

– Неправда – *в уединении* сила; только бессильные ищут единения, значит, – где же сила? Очевидно, не в тех, кто ее ищет у других.

– А это не парадокс? Боюсь, что это парадокс.

– Отчего же вы боитесь парадокса?

– Какой странный вопрос.

– А по-моему, странная трусость.

– Почему странная?

– Да что такое парадокс?

– Парадокс...

– Ну вот видите, вы даже не знаете, чего вы боитесь. Парадокс есть утверждение, идущее вразрез с общим мнением. Разве это так страшно?

– Это, пожалуй, не страшно, но почему вы так объясняете?

– Не я объясняю, а Ларусс, и в своем словаре он прибавляет: «Круглота земли долго принималась за парадокс».

– Значит, парадоксальность измеряется субъективным мериллом?

– Ну разумеется: не верят – парадокс, а поверят – будет истина.

– Ну это тоже парадокс.

– И тоже страшно?

– Даже жутко.

– Вот то-то и есть, мы все боимся, мы рабы слов. В театре хохочем, когда у Островского мать сокрушается, что сын

знает мало «умных слов», или когда у Гоголя мать говорит сыну, что при слове «титулярный» ей «так и приходит на ум Бог знает что», а в жизни мы все так: слова для нас имеют смысл помимо их значения. Помню, одна дама однажды говорила, как соблазнительны магазинные окна: так иной раз захочется купить без чего всю жизнь жил, а тут кажется – обойтись нельзя. Да, сказал я, изобретения вызывают потребности. «Как это хорошо, как это великолепно сказано... Теперь, знаете, нам нужно проверить, правда ли это». – «Как так?» – «Да мне говорили, что всякий афоризм ложен». – «Но это не афоризм, – говорил я, – *если* даже афоризмы ложны, то это не афоризм». – «Да, но оно звучит как афоризм». – «Да не афоризм, не афоризм...» Понимаете, она даже не знала, что такое афоризм, а боялась его... Точь-в-точь как вы с парадоксом.

– Да как же не бояться, когда вы говорите такие вещи, что, пока люди не верят – парадокс, а поверят – будет истина. Ведь это разрушение всякой объективной истины.

– Не я говорю, а Булье говорит в своем словаре: «Многие воззрения, кажущиеся невероятными парадоксами, становятся неоспоримой истиной».

– Вы любите словари?

– Успокоительное чтение... раскрывает ум мироздания в уме человека. Не знаешь, что более достойно восхищения – зеркало или отражение.

– Ну а что такое афоризм? Уж будьте моим словарем.

– Афоризм есть краткое определение, все, что надо знать о каком-нибудь предмете; достоинство – при наибольшей краткости наибольшая полнота.

– И только?

– Только. Страшно?

– Нисколько.

– А знаете, насчет словарей что мы говорили и перед тем насчет одиночества, – ни при одном чтении я так не ощущаю великолепие своего одиночества, как при чтении словаря: вселенная для меня одного.

– Вполне понимаю. Только тот, кто знает цену одиночества, поймет это.

– А как мало таких.

– *Редко, как все ценное.*

– Как же не редко, когда люди не только не ценят одиночества, они платят за то, чтобы не быть одним. Все наши «увеселительные заведения», да даже театр, для большинства – не что иное, как плата за выход из одиночества: играйте мне, пойте мне, танцуйте мне.

– Своего рода чесание пяток?

– Ну да.

– Зато когда кто понимает...

– *Ценно, как все редкое.* Вы знаете стихи:

О мука! О любовь! О искушенья!

Я головы пред вами не склонил.

Но есть соблазн, соблазн уединенья.

Его никто еще не победил.

– Чье это!

– Не скажу.

– Почему?

– Вы ее не любите.

– Кого?

– Автора.

– Поэтесса?

– Да.

– Ах, так это Зинаида Гиппиус.

– Не знаю.

– Удивительно, как люди не хотят признавать друг друга способными на беспристрастие. В какой хотите добродетели – сколько хотите очков вперед, в беспристрастии – никогда: самый близко знакомый в подозрении.

– Ну хорошо. Нравятся стихи?

– Прекрасны.

– Зинаиды Гиппиус.

– Я так и знал.

– Ну послушайте! Это уж маленькое преувеличение. У древних греков «я узнал» значило то же самое, что «я знаю», у них для этого было даже особое прошедшее время – аорист, но сказать «я так и знал» про то, чего раньше не знал, и сказать только потому, что только что про это узнал, это уж...

– Нисколько не преувеличение. Вы, субъективист знаме-

нитый, должны бы знать, что такое точка зрения.

– Отлично знаю.

– Значит, не отлично, если не допускаете, что можно сказать «я знал» про то, что только что узнал.

– Не понимаю.

– Это лишь точка зрения: передвижение точки зрения во времени... Что вы на меня уставились?

– Да, кажется, теперь *вы* заговорили парадоксами.

– А вам стало страшно?

– О, мне от слов страшно не бывает. А точки зрения? Да чем чаще они меняются, тем интереснее. Вы знаете, кто-то сказал: «Дайте мне любую доктрину, и я берусь ее доказать».

– Да, и посмотрите теперь с нашей «точки зрения» – только не временной, а пространственной, – посмотрите, как хорош Троицкий мост.

– Правда, даже ужасный Троицкий мост... Бедный Петербург! Его краса гаснет, как луч багряного заката.

– А что же вы, например, не поднимаете голоса иногда? Вхожи, приняты, бываете, а что из того?

– Кто вам говорит, что не говорю? Раз даже писал. По поводу гауптвахты на Синявинской площади...

– По поводу?..

– Гауптвахты... на Синявинской площади.

– Простите, не знаю.

– Мало кто знает. Я сам не знал. Раз ночью случайно проезжал, увидел эту прелесть, извозчика остановил, обо-

шел кругом, посмотрел название улицы – Синявинская площадь. Понимаете, маленький домик, прелестнейший ампир, капризный ампир. Я не знал, что это такое, но там бы сад разбить, а это бы осталось посредине павильоном... Вдруг через два месяца читаю в газете: Дума постановила снести гауптвахту на Синявинской площади. И вспомнил я, как одна старая тетушка, по происхождению балтийка и по-русски плохо понимавшая, посылала камердинера справиться о здоровье тяжело больного. Камердинер возвращается и докладывает: «Приказали долго жить». «Ну, – прибавляла тетушка, рассказывая об этом, – я тут же все и поняла».

– Почему же это?

– Почему Дума постановила, не знаю, но газета прибавляла: «И в самом деле, уже давно она мозолит глаза обывателям». Мозолит глаза, – потому что гауптвахта, понимаете? На той же площади ужаснейшее здание, электрическая станция, – это не мозолит, а перл ампирного искусства... Но что вы хотите, чего ждать от газеты или от Думы, когда художник Репин высказывается против ампира, потому что... он будит в нем воспоминание аракчеевщины! Было время, мы дилетантов осуждали за то, что они некрасивые произведения любят за *воспоминания*, а теперь художники осуждают прекрасные произведения за *напоминания*.

– А если бы эту самую гауптвахту превратили в туалетный киоск...

– Простили бы.

– Знаете, это идея: самое ненужное превратить в самое нужное.

– Ради содержания примириться с формой? Не в первый раз... А то еще помню, по поводу Дворцового моста я говорил с одним из наших городских голов...

– Вы говорите так странно, во множественном числе, точно это гидра.

– Да ведь по латинской поговорке, одну отлочишь – другая появится.

– Так что же вы говорили?

– Мы сидели рядом в какой-то комиссии по постановке памятника, и я воспользовался этим, чтобы обратить внимание на то, что Дворцовый мост нельзя рассматривать как одиночную постройку, что он есть составная часть огромного архитектурного рисунка, в котором Биржа есть центр, а Дворцовый мост лишь одно крыло, другое крыло – мост, соединяющий Биржу с Петербургской стороной; что, следовательно, если желательно, чтобы Дворцовый «гармонировал» с Биржей, то желательно, чтобы другой мост гармонировал с Дворцовым.

– И что же?

– Что?

– Что он сказал?

– Что же он мог сказать? Разве в таких случаях говорят что-нибудь иное, кроме любезностей? Но скажи я обратное, то есть что Дворцовый мост должен «гармонировать» с Зим-

ним дворцом, а отнюдь не с Биржей, и я получил бы в ответ такую же любезность.

– Как хорош был проект Александра Бенуа.

– Мало ли что... А строят Мельцеровское рококо.

– Бедный, бедный Петербург!..

– А Москва?! Разве это не пятно на художественной России, что архитектурная Москва отказалась от себя. Эта американская Москва внутри Китай-города; эти готические Мюры и Мерилизы рядом с ампириным великолепием Большого театра; эти магазинные вывески, которые всегда кричат о себе, только о себе, и закрывают столько великолепных домов, – о себе кричат и заставляют молчать архитектуру!

– Я ужасно люблю, когда иностранцы, не бывавшие в Москве, говорят о ней как о настоящем, старом, типичном русском городе.

– Да, привести бы такого иностранца в Скатертной переулок, показать эти «настоящие, старые, типично русские» гримасы, кафельные ванны – дворянские бани, вывороченные наизнанку.

– То, что в публике называется «декадентский стиль». Вот тоже слово, ожидающее своего определения.

– Декадентский? Никогда никто не определит.

– Мне каждый раз, как я его слышу, хочется остановить и сказать: «Позвольте, сперва объясните, что это значит».

– Одну даму я раз спросил. Она сказала: «Ни одной прямой линии». А один господин сказал: «То, что воняет». У

него два сына училось в гимназии, а в этот период семейной жизни эстетический кодекс родителей весьма часто руководствуется принципами довольно смутными, в которых критерий художественный так же смешивается с нравственным, как впечатления зрительные или слуховые с обонятельными.

– Метафора более яркая, нежели определенная.

– Вот определенности вы никогда и не дождетесь. Когда Роден – «декадент», и реклама мыла «Гелиотроп» – «в декадентском стиле». Когда под одной кличкой понимается и художественно прекрасное и художественно позорное...

– Это еще не так ужасно, как то, что *людей*, восхищающихся первым, признают сторонниками второго. «Вот вы восхищаетесь Роденом, так вот вам, в вашем вкусе, для вас» – и показывают вам рекламу пудры «Селестин». И удивление, что вам не нравится!

– А обратное удивление. Я ужасно люблю обратное удивление. Вы признанный декадент, вас окрестили, от клички не умоетесь. И вдруг – о удивление! Вы любите старых итальянцев, вам нравится Боровиковский, вы говорите, что вы Баха предпочитаете Рихарду Штраусу! И тогда говорят: «Он сдал, поправел, как говорят французы – подлил воды в свое вино. Неспроста, тоже знает, откуда ветер дует»...

– А когда начинается *объяснение* поступков – для чего он говорит, для чего он пишет, для чего старается, – люди думают, что они ух как тонки, насквозь угадали человека, а они только приписали ему свои же собственные побуждения.

- Не будем говорить о людях... Смотрите, солнце заходит: пожар во всех окнах Дворцовой набережной.
- Да, солнце всегда будет садиться.
- «Und morgen wird die Sonne wieder scheinen»¹.
- И это тоже всегда.
- Очевидно: «Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zuriick»².
- Вы ужасно умеете давать настроение и разбивать его. «Мечты, мечты, где ваша сладость»!..
- Вот опять одна из бессмысленных поговорок.
- Во-первых, это не поговорка. Не будьте как тот автор, который писал: «Как гласит французская пословица, – никто не пророк в своем отечестве».
- Неужели! Кто это?
- Кто, это все равно. Только он не знал, что это из Евангелия. А еще в книге по церковному вопросу.
- Ну хорошо, но ведь я же сказал «поговорка» не в смысле происхождения, а в смысле употребления – прибаутка, присказка. Я не понимаю, как и поэт мог написать такую чепуху.
- Почему чепуху?
- Да разве мечты могут утратить свою сладость? Мечты никогда не могут утратить свою сладость.
- Он вовсе не говорит, что мечты свою сладость утратили, а что он утратил мечты, а так как...

¹ «И завтра солнце снова будет светить».

² «Здесь впереди оно заходит и сзади возвращается опять».

– А так как мечты сладки – понимаю... Какой чудный вечер!

– Да, уж вечер.

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает...
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает...

– У-га-са...ет...

– Нельзя почувствовать красоту Петербурга и не вспомнить Пушкина.

– Пушкина?

– Ну да, ведь это «Пиковая дама».

– Да, «Пиковая дама», вставной номер, текст Жуковского.

– Как я завидую вашей канве.

– То есть?

– У вас все впечатления ложатся на канву; даже когда воображение «свой мечет пестрый фараон».

– Уж не знаю... А что мы говорили насчет прибауток... Да, знаете, есть целая масса прибауток, которых я прямо слышать не могу, которые так обтрепались, что больше ничего не значат.

– С этим согласен.

– Я знал одну полковую даму в провинции, которая никогда не говорила просто «но», она всегда прибавляла: «увы и ах».

– Цветистый образ речи?

– Обойного характера – с возвращающимся рисунком. Ах, как у нас любят обои! А все эти «се нон э веро», «де густибус», «а ля гер ком а ля гер»...³.

– И «сапиэнти сат»⁴.

– И «сапиэнти сат», которым сдержанная оскорбленность заканчивает свое «письмо в редакцию».

– А кстати, что вы скажете о перестрелке Волконского с Философовым по поводу того, что тот назвал его «культурный князь», а он обиделся.

– Он не обиделся, это было бы глупо.

– Тогда зачем же об этом писать?

– Так он не с личной точки зрения писал, а как признак известного отношения людей друг к другу. И хотя Философов очень пространно не то извинялся, не то пояснял, все же нельзя не сказать, что вообще в известного рода печати с титулами у нас не умеют примириться: их или выплевывают, или проглатывают. В прошлом году, по поводу не помню кого, писали «титулованный лектор». Ну разве интересно – титулованный или не титулованный. Интересно: скучный или занимательный, идиот или не идиот, говорит или шамкает.

– Ну а как же, вы говорите, проглатывают титулы?

³ Начала поговорок *se non e vero, e ben trovato* – если и неправда, то все же хорошо придумано; *de gustibus non est disputandum* – о вкусах не спорят; *a la guerre comme a la guerre* – на войне как на войне.

⁴ *sapienti sat* – для понимающего достаточно.

– «Присутствовали такие-то: С.А. такой-то, И.В. такой-то и *господин* Голицын». Это я читал.

– И, очевидно, это должно что-нибудь обозначать, потому что иначе и про других сказали бы «господин». Но что это должно обозначать?.. Не понимаю...

– Много на земле непонятного... Смотрите, звезды зажигаются.

– «И светла адмиралтейская игла».

– Не хочется уходить...

– А что я еще хотел у вас спросить: почему это Волконский так с Далькрозом носится?

– Потому что Волконский – паук, прицепившийся к орлу.

– Ну уж это извините.

– А что, не паук?

– Этого не знаю. А только Далькроз, я думаю, не орел.

– Ах вы!.. Было однажды интервью с одним из актеров Михайловского театра; оно кончалось так: «*Vivrons, ver-gons*»⁵, – сказали мы симпатичному артисту.

– Вольный перевод?

– Скорее, перевод с вольностями.

– Так что – орел?.. Вы никогда не спорите, когда заходит речь о Далькрозе.

– Никогда.

– Не убеждаете.

– Никогда.

⁵ Выживем – придем.

– Не обижаетесь.

– Никогда.

– Не сердитесь.

– Никогда.

– Не осуждаете.

– Я жалею.

– А когда смеются?

– Еще больше жалею.

– А когда всполошенная стыдливость кричит о поругании благопристойности?

– О, тогда уж я окончательно молчу.

– Но вы думаете?

– И очень.

– Что же вы думаете?

– Что лучше руководствоваться звездами, чем пресмыкающимися.

– Уважаю.

– Спасибо...

– Вам не пора?

– Куда?

– Куда-нибудь.

– Никуда мне не пора.

– А мне пора.

– Куда?

– Куда-нибудь.

– Бегство из одиночества?

- Может быть, наоборот...
- Жажда одиночества?
- Не обижайтесь.
- Уважаю.
- Спасибо.
- Ну что же, до свиданья.
- До свиданья.

Павловка,

11 октября 1911

4. Приемный день

Модесту Ильичу Чайковскому

*Слышать мы не слышали,
А только – говорят...*

Мятлев

1. Ах, генерал! Какой приятный...

2. Графиня, здравствуйте!

1. Приятный сюрприз! Я не знала, что вы в Петербурге.

2. А я не знал, что у вас приемный день. Ну, приемный так приемный...

1. Да, это удобнее: всех зараз. С тех пор как мои внучки выезжают, Петербург стал так велик, я изнемогаю от количества людей и еще больше от количества слов. Выносить это каждый день я не в состоянии; каждый день слышать, что «сезон в нынешнем году будет очень короткий» и что «придворных балов в нынешнем году не будет», я-не-в-со-сто-я-нии.

2. И вы «взяли день»?

1. И я взяла вторники. Это день Неждановых-Стекланцевых, а так как мы живем напротив...

2. Вы подумали о ваших ближних?

1. Скажите лучше, о моих дальних.

2. В переносном смысле?

1. О, нет, в самом прямом. В переносном смысле все одинаковы, кроме, конечно, нескольких милых исключений.

2. Этого вы могли бы не прибавлять.

1. Вы не сомневаетесь, не правда ли?

2. А разве я не знаю, что присутствующие – всегда исключение?

1. Особенно, когда так долго отсутствуют. Где вы были?

2. В Москве.

1. Вот как, а я думаю, в Биаррице.

2. Нет, я провел лето у себя в Крупенниках, а в Москве застрял по делам.

1. Значит, вы видели пьесу Толстого?

2. Даже два раза.

1. Скажите мне, для девушек ли это?

2. Позвольте, позвольте... Вы меня застаете врасплох...

Я, признаюсь, об этом ни разу не подумал.

1. Старый холостяк!

2. Но, я думаю, Толстой всегда для девушек.

1. Генерал, милый генерал! Да вы никогда не читали «Крейцерову сонату»!

2. Читал, графиня, как же не читать.

1. Ну так у вас никогда дочерей не было!

2. Вот это скорее.

1. А я никак не могу добиться. Никто не может мне ска-

зять, как будто все слово себе дали об этом не думать. А сама читать я положительно не имею минуты: Петербург стал так велик, с тех пор что...

2. Неужели же никто, как вы говорите, об этом не думает!

1. Да никто, уверяю вас. Я больше ничего не понимаю. Я понимаю, что можно не думать, но как можно забыть, вот чего я не понимаю.

2. Виноват, – что забыть?

1. Как может, например, человек, который отец, или та женщина, которая мать, забыть, что у него или у нее есть или были дочери. Вот чего я не понимаю.

2. Как вы сказали?

1. Я сказала, что не понимаю, как можно забыть, что есть или были дети.

2. Нет, вы выразились как-то про женщину, вы сказали...

1. Я сказала, что я не понимаю, как женщина, которая мать...

2. Вот, это тоже есть в «Трупe».

1. Ах, это есть?

2. Да, та женщина, которая мать...

1. Толстой всегда отлично понимает материнство. Но все-таки, пока я не... Ах, идет этот несносный Турусов!

2. Он у вас бывает?

1. Где же он не бывает! Где свечи ни зажгли, – все равно, бал или панихида, – он всегда первый... Как вы любезны, князь...

3. Я так был рад узнать, графиня, что у вас приемный день, а то вас никогда дома не бывает... Генерал, здравствуйте; вы в Петербурге, – можно сказать, что сезон балетный начался. Ведь завтра «Жизель».

2. Ну что ж, «Жизель» так «Жизель». Графиня, будьте здоровы.

1. Вы меня покидаете?

2. У вас начинается съезд, а мой сезон, как вы слышали, начинается только завтра.

1. До свиданья, генерал, не забывайте...

3. Балетный сезон будет дольше, графиня, чем балый, – в нынешнем году Пасха такая ранняя... Впрочем, кажется, ущерб небольшой – придворных балов, говорят, не будет...

1. Да, мои внучки прямо неутешны... для первого их сезона...

3. Моя дочь мне говорила; она познакомилась с ними на катке, она мне говорила, что они вместе горевали. Я так рад, что моя дочь дебютирует вместе с вашими внучками. Для одинокого отца, знаете, графиня, как трудно...

1. Ах, скажите мне, князь, вы знаете пьесу Толстого...

3. То есть я ее не видел... но...

1. Но вы знаете. Скажите мне, это для девушек?

3. О, да.

1. Кто вам сказал?

3. Моя дочь была.

1. Да разве... Ах, Мария Ивановна, как я рада!

4. Здравствуйте, милая графиня, привезла вам моих девочек.

1. Очень рада, надеюсь, что вы будете много веселиться... Вы знакомы? Князь Турусов.

3. Я имел честь быть представленным Марии Ивановне в прошлый раз у Неждановых-Стеглянцевых.

4. Как же... Я сейчас оттуда. Город и окраина!

3. А я сейчас туда. Графиня, имею честь... Мария Ивановна...

1. До свиданья, князь.

4. Какой несносный.

1. Ах, какой несносный! И представьте, его дочь... Я думаю, вашим барышням веселее будет за чайным столом.

4. Ну разумеется. Марш в ту комнату.

1. Пойдите, мои милые; вы мою Марианну знаете?

5. Нет, не имела...

1. Марианна, вы там?... Это ничего...

6. Я здесь, графиня.

1. *Это ничего, вы познакомитесь...* Они обворожительны.

4. Мы вчера представлялись. Они об-во-ро-же-ны.

1. Ну еще бы... Какое воспоминание... Когда перед тобой жизнь...

4. Я решила им давать от жизни только одни светлые, хорошие впечатления.

1. Чтоб было что вспомнить? Как вы правы!

4. Не правда ли? А у нас теперь не любят вспоминать.

1. Не говорите, дорогая: «Старые годы» много сделали.

4. А вы, графиня, по обыкновению, «всегда в курсе», как говорит наш милейший генерал. Где он пропадает?

1. Приехал, сейчас был здесь, завтра будет в балете.

4. Как и следовало ожидать.

1. Не всегда «в курсе», Мария Ивановна. Совсем даже не в курсе относительно пьесы... Толстой.

4. Le «Живой труп»?

1. Mais oui. Я не могу добиться, si c'est pour jeunes filles⁶.

4. Не знаю.

1. Никто не знает! Я сейчас спрашивала Турусова, а он... Да, я же забыла, что я вам хотела сказать... Мы с вами всегда так, начнем, и потом...

4. Как говорил мой покойный Gregoire: «с ветки на ветку».

1. А мой сын всегда говорит: «У мама сердце ни с места, а воображение порхает».

4. Это то, что придает очарование вашей беседе; вас всегда находишь – вы повсюду.

1. Да и с вами, дорогая, не разминешься. Так о чем же мы говорили?

4. О пьесе Толстого, кажется...

1. Да, конечно. Вы видели?

4. Ох нет! Разве можно смотреть такое название. Мои дочери все пристают...

1. Да, вот же что я хотела сказать. Оказывается, la petite

⁶ годится ли это для барышень.

Турусов... Вот вся семья Кегельгоф... Беседовать невозможно.

4. Кегельгоф?

1. Да, прелестные балтийцы, она урожденная Тюриссаль... Милая баронесса, как я рада; здравствуйте, барон, позвольте вас представить Марии Ивановне Досецкой.

4. Я очень рада.

7. Мы отчень рады.

1. Милая баронесса, ваша молодежь, может быть, пройдет в ту комнату, там чай... Встречается молодежь.

4. И они познакомятся с моими дочерьми.

8. Мы будем отчень рады.

1. Садитесь, баронесса. Приятно смотреть на ваших дочерей и сыновей, – они воплощение здоровья.

9. Это следствие морского воздуха.

1. А также хорошего воспитания, баронесса. Надо сказать, что у них семейная жизнь сохранилась гораздо больше, чем у нас. Правда, барон, у вас...

7. У нас патриархальный образ жизни сохранился в надлежащих рамках.

1. Да, но вы соединяете патриархальность с культурой. В вас ведь это сильно развито, баронесса.

9. Но у нас нет ощущения, что мы живем в провинции.

1. А вы надолго в Петербург?

9. Ах, мы сами не знаем. Сезон такой короткотткий. Я не знаю. Мы хотим познакомиться... И кроме того, наш стар-

ший сын вступает на дипломатическую стезю.

1. Ну, я надеюсь, что вам в Петербурге понравится... Ах, Сергей Константинович, здравствуйте... Баронесса, позвольте вам представить – Сергей Константинович Макоцкий. Мария Ивановна...

4. Я знаю, я знаю... Вы издатель «Персея».

10. Редактор.

4. Ах, извините... Графиня, я, кажется...

1. Вовсе нет, дорогая. Редактор, это же намного больше, чем издатель. Барон, я вас, кажется, не познакомила...

7. Я отчень рад познакомиться с вами. Ваш журнал у нас в Реввеле, в клубе, всегда на столе.

10. Я очень счастлив.

8. Мы так жаледем, что выставка в Царском Селе уже закрыта.

10. Может быть, вы мне сделаете честь посетить выставку «Персея»?

7. Ах, обязательно. Она уже открыта?

10. Через десять дней.

7. Обязательно.

10. Графиня, я вам привез билет на открытие.

1. Как мило, что вспомнили. Мы поедем вместе с баронессой.

9. Я рада – у меня страсть к выставкам.

1. Сергей Константинович, вы, может быть, пройдете в ту комнату... Это не то, чего мне будет не хватать в Петербурге

этой зимой... вы встретите молодежь... это очень достойные молодые люди из «Старых годов».

4. А я думала, что это «Персей».

1. Это одно и то же.

7. Эмилия, полагаю, нам следует проститься...

9. Прощайте, мадам.

1. Au revoir. До свидания, молодые люди. Где вы остановились, баронесса?

9. У нашего дяди, сенатора.

1. Я вам расскажу о выставке... Я очень люблю балтийцев. Воспоминание детства. И потом, для внучек это такой чистый элемент – эти маленькие Кегельгофы.

4. Однако, я у вас всех пересидела...

1. Оставайтесь, дорогая. Вы меня поддерживаете... А, наш депутат! Здравствуйте, Михаил Александрович. Мария Ивановна, вы знаете Михаила Александровича Стаховича...

11. Здравствуйте, графиня. Могу вам сообщить, что в ваших владениях все обстоит благополучно.

1. А когда вы оттуда?

11. Третьего дня.

1. И что же?

11. Ваши зелены прекрасны, но вообще скверно.

1. Что ж делать! На Бога надежда.

11. Конечно, когда человек плох, то другого не остается...

А, Сергей Константинович! Как поживаете? Чем заняты?

1. Спросите у него, чем он не занят... Это невозможно.

Михаил Александрович, скажите ему, что так нельзя. Много желать – добра не видать.

11. А если наоборот? Много видать – добра не желать?

1. Не острите, господин депутат. А лучше скажите Сергею Константиновичу, что так нельзя. Теперь выдумал выписывать какой-то балет в купальных костюмах.

10. Во-первых, это не я выдумал, а Волконский.

1. Ну все равно – «Старые годы».

11. Не старые, графиня, а, смею вас уверить, самые молодые.

1. Я надеюсь, что запретят этот балет. Михаил Александрович, вы должны употребить ваше влияние.

11. Это не балет, графиня, это Далькроз. Это гимнастика.

1. Тогда зачем же на нее смотреть?

11. Говорят, это поразительно красиво. И потом, в смысле воспитания...

1. Уж это пожалуйста! Я только знаю одно: мои внучки ни через такое воспитание не пройдут, ни на такое представление не поедут. Для купальных костюмов есть свое место и свой сезон. Не правда ли, Мария Ивановна?

4. Это какое-то сумасшествие. Я удивляюсь, как вы, Михаил Александрович, такой положительный человек...

11. Я лично ничего не могу сказать – я не видал. Но вы знаете, что в Москве уже начинают с ума сходить. Весь Художественный театр занимается ритмической гимнастикой. На днях сам Станиславский «пошел».

1. Куда?

11. Кругом пошел, вместе с другими.

1. Ах да, это я знаю, ведь «круги» – это его система... Что, Сергей Константинович, вы бежите?

10. До свидания, графиня, – дела.

1. Все «Персей»? Ну что ж, до свидания.

10. До свидания, Мария Ивановна, позвольте и вам билет привезти?

4. Очень буду рада. Вы же знаете, что искусство – это моя страсть.

10. До свидания, Михаил Александрович. А что толстовская выставка?

11. Подвигается, интересный материал поступает.

10. Неужели?

11. Почему «неужели»?

10. Простите, я с своей, слишком субъективной точки зрения.

11. Ну да, я знаю, у вас, эстетов, это называется рухлядью. Но эта рухлядь, батенька, пронизана гением!

10. В том-то и дело, что не пронизана, а гений сам по себе, рухлядь сам по себе.

11. Это хула на историю!

10. Это хула на искусство!

11. Мы не претендуем на то, чтобы создавать искусство.

10. Тогда уж лучше и историю не писать.

1. Господа, господа...

11. «В вашем доме»? Мы всегда так, как сойдемся, графиня, не беспокойтесь.

10. Это не имеет никакого значения.

1. Я никогда не могла понять, как можно из-за вопросов искусства так ссориться, как некоторые. Не все ли равно, что одному нравится одно, а другому – другое. Не правда ли, Мария Ивановна?

4. Еще бы! В искусстве надо быть терпимым.

1. Ну вот видите, господа. Михаил Александрович...

11. Не волнуйтесь, графиня, ничего не произошло. Я его на минуту задержал и отпускаю. Летите, юный герой, Андромеда вас ждет.

10. Улетаю.

1. Это очень достойные молодые люди из журнала «Старые годы».

11. «Персей», графиня, не «Старые годы».

1. Разве это не одно и то же?

11. Совсем не одно и то же.

1. Да? Но они одни и те же. И я нахожу, что они очень хороши, не как другие некоторые, кто из-за искусства плохо закончит. Когда у вас Дума начинается?

11. Послезавтра.

1. Уж в нынешнем году я не попаду.

11. Отчего так?

1. Мои внучки выезжают! Вы и не знали?

11. Поздравляю, графиня.

1. Если б вы знали...

11. Что за комиссия?

1. Если б вы знали... Вы бы не поздравляли... Впрочем, когда будет председательствовать Родзянко, я поеду. Поедем, Мария Ивановна?

4. А вы больше любите Родзянко? Я предпочитаю Волконского.

1. Ах, *cherе*, ну как же можно сравнивать! Михаил Александрович, вы человек с убеждением: кто из нас прав?

11. Я думаю, что в данном случае разногласие не столько вопрос убеждения, сколько вопрос вкуса.

1. Вы не депутат, вы дипломат.

11. Вот слово, которое всегда говорится как упрек, а принимается как похвала.

1. Я не знала, что вы такой оптимист.

11. А я не знал, что Мария Ивановна интересуется Думой, я думал, что она принципиальный противник выборного начала.

4. Да, в глубине души мне не нравится избирательный принцип, но когда графиня меня везет...

1. Уж я знаю, Мария Ивановна... Она только не признается, но она это любит гораздо больше, чем приемные дни... Ах, Долли! Как я рада вас видеть!

12. Наконец я к вам попала! Если б вы знали, что за жизнь... Мария Ивановна, здравствуйте... Ради всех святых, графиня, чашку чаю...

1. Марианна, чаю Дарья Федоровне!

12. Если бы вы знали! Я в десяти местах была... Мария Ивановна, я вас видела вчера в театре... Ах, депутат, мы с вами не виделись целую вечность.

11. На первом представлении «Труппа». Это не так давно.

12. Время так быстро идет и так полно впечатлений, что все кажется давно... Спасибо, Марианна, вы ангел.

11. Но со мною, Дарья Федоровна, вы не успели обменяться впечатлениями. Как вам понравилось?

12. Игра бес-по-доб-на! Вы знаете, я люблю реализм – в искусстве! В жизни нужен идеал, но в искусстве... и потом, это гораздо труднее. Когда, например, человек некурящий на сцене курит так, как будто всю жизнь курил, – ведь это то же, что они называют переживание, и гораздо труднее, чем переживать какие-нибудь чувства, которые он в жизни уже чувствовал. Не правда ли, Мария Ивановна?

4. Да, я понимаю; вы находите, что для актера труднее создавать, чем повторять. Это очень тонко замечено, графиня.

1. Да ведь она у нас такая умница. Ну а пьеса?..

12. Нет, не спрашивайте. При Михаиле Александровиче не буду говорить.

11. Я вижу, что мне надо уходить.

1. Зачем же, Михаил Александрович?

11. Затем, графиня, что вы жаждете узнать то, что при мне не может быть сказано.

1. Почему же жажду? Это было бы негостеприимно.

11. Потому что Дарья Федоровна законодательница, а вы закон ставите выше обычаев. Нет, право, мне пора.

1. Мне очень жаль, что вы так скоро. Это все Долли. И это второе неудовольствие в моем доме.

11. Второе? А первое?

1. Макоцкий.

11. О, графиня, когда я поверю в первое, тогда будем говорить о втором. До свиданья.

1. Ну а теперь, что он ушел, я вам скажу, что он и сам не знает, как близок к истине. Я жажду слышать ваше мнение, Долли.

12. О чем?

1. Об этой пьесе.

12. О какой?

1. О пьесе Толстого!

12. «Живой труп»?

1. О какой же еще!!

12. Почему же вам это так нужно?

1. Долли, вернитесь в себя! Вы слишком рассеянны. Ну как же вы не понимаете, что та женщина, которая мать...

12. Не сердитесь, милая, я действительно... иногда... рассеянна. И потом, понимаете, ведь я была в десяти местах...

1. Правда?

12. Невозможно.

1. Что невозможно?

12. Я только знаю одно, что, если бы у меня была дочь, я

бы никогда ее не повезла.

1. А! Наконец!

12. Что – наконец?

1. Наконец ясное суждение.

12. Невозможно, невозможно. Этот Протасов...

1. Только та и идея, чтобы взять всем известную фамилию...

12. Не правда ли? Но потом, поведение этого человека и та святость, в которой это поведение выставляется. Я вам говорю – невозможно.

4. Не правда ли, там развод?

12. Без развода, Мария Ивановна, без развода!

4. А как?

12. Уступка.

1. А приличия?

12. Соблюдены, до поры до времени.

4. Чем же?

12. Симуляция самоубийства.

1. А потом?

12. А потом, когда всплывает, – уже настоящее самоубийство. Но я должна сказать, что самое ужасное, это все разговоры в промежуток времени между двумя самоубийствами.

4. И что же?

12. Только подумайте. Он говорит, что любил по-собачьи!

1. Как! Он это говорит?

12. Именно так. Но по-русски!

1. Понимаю.

12. Ну а теперь, что вы узнали, что вам нужно, я должна, должна бежать. Прощайте. Не прощайтесь, не провожайте... и не забывайте!

1. Сумасбродка, но масса здравого смысла.

4. Ну а теперь и мне пора. Маруся! Катуся! Прощайтесь с графиней.

5. Прощайте, графиня.

1. Я очень была рада вас видеть. Я надеюсь, мама вас отпустит ко мне в пятницу вечером.

4. Разумеется... Поблагодарите графиню...

5. Благодарствуйте, графиня, мы так будем рады.

4. Разумеется... По крайней мере поболтаем.

1. Да, уж эти приемные дни, это невыносимо... И кто их выдумал... Я изнемогаю... До свиданья, спасибо, сбере, вы меня поддержали... Марианна!

6. Графиня?

1. Я буду обедать в своей комнате, я больше не могу.

6. А вы хотели, чтобы я после обеда прочитала вам «Живой труп»?

1. Я уже прочитала.

6. Когда же вы успели?

1. Скажите, что можно гасить.

Павловка,

12 октября 1911

5. Чернозем

Владимиру Васильевичу Богородскому

А там, во глубине России...

– Хорошо ваш автомобиль справляется с осенней грязью.

– Ему все нипочем.

– Какая марка?

– Форд. Не элегантно, но хозяйственно.

– Сколько сил?

– 22.

– А весу?

– 30 пудов.

– Только?

– Вес нагруженной телеги. Где крестьянский воз проходит, там проходит и автомобиль.

– Это ценное свойство при ваших мостах.

– Да, наши мосты не то что ваши. У вас «Нева оделася в гранит, мосты повисли над водами». А у нас пруды оделися в навоз, мосты стоят середь дороги.

– Как – середь дороги?

– Да ведь объезжаем, – вернее.

– А когда нельзя объехать?

– Что ж делать? Надо так надо. Перед риском не задумы-

ваемся.

– А рискованно?

– Где перст Судьбы, там нет Закона. Однажды архиерей проехал в карете, так за ним мост провалился. Хорошо, что не под ним, – только проехал, провалился. Архиерей проехал, а исправник остался на той стороне.

– И опасное место?

– Зияющая пропасть легла между властью светской и духовной.

– Ну, послушайте, как ни хороша аллегория, а в ваших местах не поверю, чтобы были зияющие пропасти.

– Что? Гладко?

– Удручающе гладко. И потом этот горизонт, который никогда не приближается, а всегда уходит.

– Да, в это время года особенно безотраднo.

– И этот цвет: на земле черно, над землей серо...

– Посмотрели бы летом: на земле золото, а над землей сине. И какие закаты солнца! Только в Каире бывают подобные.

– Но отсутствие человека. Ведь это пустыня.

– Кроме галок, никого.

– Черные галки, черная дорога, черная равнина...

– Время года. Посмотрели бы летом. Днем – уборка, в золоте ржи рассыпанные сарафаны и рубахи, звон косы; вечером – в облаках золотой пыли стада, шелканье арапника; а ночью – звезды, песни и костры... пронесется табун, залает

собака, под боком из темноты фыркнет лошадь...

– Вон обоз идет навстречу, – наконец живые существа!

– Надо остановиться, пропустить.

– Как лошади относятся к автомобилю?

– Очень розно.

– Темперамент?

– Темперамент, опыт, общественное положение, – вы думаете что?

– Несчастий не бывало?

– Слава Богу. Один раз лошадь распряженная около телеги стояла, заметалась, забила, обезумевшая, и вдруг всеми четырьмя ногами на телегу. Счастье – в телеге никого; подумайте, если бы в ней ребенок спал...

– Понемногу привыкнут.

– Надо надеяться. А то исправник соседнего уезда так объявил, что он не допустит езду на автомобилях, пока все лошади в уезде не привыкнут.

– Да, тогда, конечно, несчастных случаев не будет. И как это другие не догадались... А люди как относятся?

– Тоже розно. Но, представьте, тут скорее возраст, а не темперамент.

– Что же, дети боятся?

– Наоборот. То есть бояться никто не боится, а взрослые глупее детей. Мальчишка слышит свисток и понимает, лошадь остановит, соскочит, накинёт ей зипун на голову или закроет шапкой глаз, и все это спокойно, без переполоху. А

мужик – свистка не слышит, услышит – не понимает, смотрит выпуча глаза, едет на слабых вожжах... И можете себе представить картину этой скачки, дерганой, рваной: лошадь в сторону, вожжи подбираются, телега по бороздам, пожитки из телеги...

– Чем это объяснить?

– Чем объяснить... Посмотрите на крестьянских детей: что это за драгоценный материал и что из него выходит.

– Условия жизни?

– Уж не знаю. Только посмотрите, как отвечают дети в сельской школе на экзамене, и посмотрите, как ответит вам мужик, если вы у него дорогу спросите. Я раз сбился с дороги. Переспросил, я думаю, человек двадцать: чесание затылков, и больше ничего не добился, а когда несколько человек вместе стоят, то один показывает вправо, а другой влево. Я вас уверяю, что в Центральной Африке с английским языком и несколькими туземными словами я бы легче выбрался на дорогу, чем в своем уезде. Один, помню, посмышленнее, взялся проводить, согласился с нами сесть; только, вижу, что-то мешкает: идут переговоры с женой. «Ну, что же, спрашиваю, скоро?» – «Нет, барин, не поеду». – «Что же передумал?» – «Аграфена не пускает».

– Тоже пропадающая сила.

– Что?

– Российская «Аграфена».

– Это разумеется. Если бы она так же умела приказывать,

как «не пущать»...

– Какой длинный обоз... Какая рвань... Какая грязь... И это тоже люди, и это тоже души.

– И это тоже граждане.

– Вот и вопрос – что раньше нужно, условия или права?

– А что было раньше, курица или яйцо? Когда причина и следствие совмещаются в одном, то нечего спрашивать, что нужно *раньше*.

– А что же это одно, в чем вы видите причину и следствие?

– Человек.

– *Сам* человек не виноват, *другой* человек виноват.

– Пожалуйста, знаем, наизусть знаем вашу столичную прибавку. «И я таким когда-то был».

– Что же вас вылечило?

– Водка.

– Вы стали пить? Не поверю.

– Не я стал пить, а увидел вокруг себя, как пьют.

– Ну и мы тоже знаем вашу помещичью прибаутку. «Водка, водка». Ведь нужно тоже иногда забыться.

– А! Вот оно самое любимое слово! Не забыться, а проснуться надо.

– Не очень-то приятно просыпаться, когда наяву и холодно, и голодно.

– «Холод» надо измерять не температурой...

– А чем?

– «Голод» – не тем, что съедается.

– А чем же?

– А тем, *мог ли бы* он протопиться, *мог ли бы* прокормиться.

– Очевидно, не мог бы, коли не может.

– Ну, цифру того, что он *мог бы*, вы найдете не в его доме.

– А где же?

– В винной лавке.

– Ну уж этому я никогда не поверю. Я понимаю, говорить о растлевающем влиянии пьянства на здоровье, на нравственность, наконец, видеть в пьянстве один из факторов экономического разорения, сказать, что человек пьяный не может работать; но измерять пьянство рублем, это теория, это для отводу глаз, это ваше помещичье упокоение на лаврах барства. Так легко сказать: ничего нельзя сделать.

– Теория!.. Ах вы, городской практик!

– Ругаться можете, а только это не доказательство.

– Что ж мне с вами делать, если вы не хотите цифрам верить.

– Я не говорю, что не поверю цифрам, а я только говорю, что если бы я, например, отказался от театров и иных развлечений, то вряд ли бы это составило такое увеличение моего достатка, о котором бы говорить стоило.

– То вы, а то крестьянин. Я вам одну цифру скажу. Есть у нас село Мучкап, одно из самых крупных и зажиточных в уезде. За этот год оно не внесло ни одного рубля земских повинностей.

– Большая недоимка?

– 30 тысяч.

– Плохой год?

– Уж я вижу, – вам хочется сказать: «Край родной долго-терпенья, край ты русского народа». Не правда ли?

– Вы знаете, что я не славянофил.

– Да, но в вопросах экономических часто, как во время наводнений, на одном холме спасаются славянофильские агнцы и анархистские тигры.

– Позвольте, я еще меньше анархист.

– Что верно для крайностей, то верно и для промежуточных инстанций.

– Ну так я, как промежуточная инстанция, без слезливости, но и без ярости спрошу вас: как же можно в плохой год ставить в укор невзнос податей?

– Не отвечаю на ваш вопрос, потому что это теория, а ведь вы, кажется, любите практику? Продолжаю, что не кончил. Знаете ли, сколько это самое село Мучкап в тот же «плохой» год выпило водки?

– Сколько?

– Сто пятнадцать тысяч.

– Чего?

– Рублей.

– Это цифра!

– Если бы каждый вместо штофа выпивал полштофа, то у них бы в три года был общественный капитал в сто семь-

десять пять тысяч рублей. Да отнесите на приход убытки от пожаров.

– Вероятно, большое проезжее село?

– Да.

– Ну так не одни местные пьют...

– Ну положите вдвое, – в шесть лет сто семьдесят пять тысяч. А знаете, сколько пропил наш уезд?

– Сколько?

– Миллион семьсот тысяч. Это тоже «цифра», не правда ли? А хотите знать профессию? Лет пятнадцать тому назад было полмиллиона.

– Больше чем в три раза! Но ведь водка вздорожала.

– Так ведь я говорю не о выпитом, а о пропитом. А занимательно тоже, что министерство финансов, получившее с уезда полмиллиона за *продажу водки*, выдало ему тридцать тысяч на *борьбу с пьянством*.

– Это – туманные картины?

– Весьма туманные. Что ж, вам, может быть, хочется продолжать вместе с Тютчевым: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»?

– Я же вам сказал, что я не славянофил. Что же, по-вашему, делать?

– Что вообще делать, это огромный вопрос, а в данном случае земское собрание постановило закрыть в этом селе школу и больницу.

– Это опять уже несправедливо.

– А более справедливо, по-вашему, чтобы больница и школа оплачивались другими плательщиками?

– Безвыходные вопросы.

– А зачем же вы их вперед решаете?

– Я не решал вперед.

– Ну да, вы данный случай не решали, потому что и не знали о нем, но вы решали принципиальный вопрос о том, что виноват не *сам* человек, а виноват *другой* человек.

– Послушайте, у меня голова в тисках.

– А, вот видите, горизонты-то не так просторны, как кажутся.

– Нет, знаете, монополия – это ужасная вещь.

– А что ж вы думаете: не было бы монополии, не пили бы?

– Ну а если бы наложить какую-нибудь узду на самую продажу, как в Швеции? Там сиделец, который продал *меньше* вина, получает награду.

– А у нас получает награду сиделец, который продал *больше* вина. Под праздник ведрами продает: винная лавка в праздник закрыта, а на улице перед избами бабы стоят и проезжих заманивают бутылками.

– «Аграфена – Сирена»?.. Так нужна культурная работа. Нужна борьба, нужны общества...

– На общества у нас, вы знаете, косятся. Пироговский съезд предлагал устроить помощь голодающим – не разрешили.

– Так Пироговский съезд! Я был в Петербурге тогда, ко-

гда его закрыли. Когда они такие глупости говорили, что без конституции касторка не будет действовать!

– Уверяю вас, что можно глупости говорить, а дело делать.

– Может быть, и можно, но как заставить этому поверить?

Не лучше ли начать с дела, а потом глупости говорить?

– Начать с дела! У меня знакомый один, врач в соседней губернии, просил разрешения в деревнях читать крестьянам о холере...

– Ну вот.

– Что – ну вот?

– Побольше бы.

– Да. Знаете результат? Через два с половиной года – отрицательный ответ.

– Так, может быть, тоже из таких, что «глупости говорил»?

– Пожалуйста, у предводителя дворянства жил, и предводитель же за него хлопотал.

– Тоже ничего не значит. Мало разве мы видали таких, что от слов воздерживаются, а «свое» дело делают.

– Ну, объясняйте чем хотите, а только нельзя, нельзя, нельзя.

– Что?

– Ничего сделать.

– А! Вот видите!

– Что?

– Есть и обратная сторона медали.

– Обе обратные, обе обратные!

– Ну, значит, не так я виноват, когда говорю, что не сам человек виноват, а виноват *другой* человек. Вопрос только – кто?

– Вы не глупы, но и Достоевский не глуп.

– Почему Достоевский?

– Он ответил: всякий человек виноват перед всяким человеком.

– Ну это тоже... Помещичья мистика.

– Не мистика, не мистика! Когда общество постановляет ходатайствовать о закрытии винной лавки, а земский начальник приговора не утверждает, какой вам еще реальности нужно?

– Ну, значит, Достоевский не глуп, но и я не дурак... Посмотрите, табун. И коняжки за нами бегут!

– Да, это довольно непонятная вещь: в запряжке лошади автомобиля боятся, а из табуна бегут смотреть, совсем близко подходят, молодые даже провожают, как собаки.

– Психология животных...

– А ночью, когда с фонарями, – тушканчики так и шмыгают под колесами, на полном ходу.

– Что такое тушканчик?

– Зверек такой, вроде кенгуру, на длинных задних лапках, хвост лопаточкой, след замечает. Его еще называют земляной зайчик. Зверек чрезвычайно пугливый, а тут на свет идет, между колес шмыгает, верстами провожает.

– Как интересно это проникновение человека в дикую

природу. Введение новых условий... новые равнодействующие...

– Самое изумительное, что я видел, это лиса. Стояла шагах в двадцати от опушки и смотрела, как мы проезжали шагах в пятидесяти от нее. Я никогда ничего подобного не видел: дикий зверь, и палец изумления во рту. К сожалению, один из наших спутников махнул рукой, и она ушла в лес, но и то – первые шаги она попятилась, чтобы не потерять зрелище.

– Это прелестно. Чувство самосохранения, уступающее чувству любопытства.

– Не правда ли? Я понимаю в животном чувство самосохранения, уступающее голоду, какому-нибудь материальному побуждению, но – любопытству! Это уж «эстетическое бескорыстие».

– До чего может дойти, до каких перестановок отношений может дойти проникновение человека в зверя!

– Во всяком случае, до большего, чем проникновение человека в человека. Принимая во внимание, *что* человек делает из некультурного животного, подумайте, *что* бы он должен сделать из некультурного человека. Подумайте, если бы все люди повиновались какой-нибудь высшей приказывающей силе, как собаки, кошки, крысы повинуются Дурову.

– Заменить наступательный прогресс поступательным повиновением? У вас бывают интересные мысли.

– Пожили бы в провинции, и у вас бы «интересные мыс-

ли» завелись. Если вы думаете, что можно чего-нибудь добиться иначе чем приказанием... Вы за воспитание?

– Ну конечно.

– А я за дрессировку.

– Нельзя это говорить, когда не испробованы способы разьяснения.

– Извините. Я думаю, ни одному живому существу в природе не нужно *обьяснять*, что вредное вредно, а полезное полезно. Всякое животное понимает и само разбирается. Почему же над человеком нужна опека?

– Простите, но это опять теория. Это на бумаге...

– А вам хочется на земле? Посмотрите направо, хоть и сильно уже стемнело, – видите косогор вспаханный? Как борозды идут? Вы видите: сверху вниз. Когда снег будет таять, когда дождь пойдет, – что, по-вашему, вода в бороздах останется? Чем ее бороздами задержать, ее по бороздкам в овраг «спускают». Что же, это тоже, по-вашему, бумага? А крестьянский пар! Вы видали когда-нибудь крестьянский пар?

– Что такое крестьянский пар?

– Да вы, может быть, и вообще не знаете, что такое пар?

– Ну, кто же не знает, что такое пар!

– Пожалуйста, не до каламбуров. Пар – это отдыхающая летом земля, на которой осенью сеется озимое. Так советую вам когда-нибудь посмотреть, что это такое – крестьянский пар. Сплошной сор, сплошная лебеда.

– Так чему же и быть, коли ничего не сеяно?

– Вот, вы господа – «радетели», а отвечаете точь-в-точь как бы ответил сам мужик.

– Так я вас спрашиваю, чему же быть на несеянном поле?

– Ничему.

– Как – ничему?

– Так, черная должна быть земля. Вспаханная должна быть. По-вашему, землю для чего вспахивают?

– Чтобы на ней сеять.

– Вот и мужик так же ответит. По-вашему, пашут землю для зерна?

– А то для чего?

– Для *земли*, для самой же земли, – чтоб чистая была, не сорная, не истощенная, рыхлая, а коли рыхлая, то и влажная. Что же, и пар крестьянский, по-вашему, «бумага»? Так я вам скажу, что если этот чернозем – бумага, то на ней написана самая ужасная история человеческого нерадения. Я знаю, я знаю, что вы хотите сказать, – что она писана потом и кровью, не правда ли? Так неужели из-за письменного материала мы должны прощать нелепости текста? Если ужасны эти черные страницы человеческого нерадения, то прощать их еще ужаснее, прощать значит поощрять, а уж умиляться ими – это не имеет имени.

– Никто не умиляется.

– Извините, наши восьмидесятые годы с их слащавым народничеством – одно сплошное умильничание над тем, как «русский мужичок» сохой скоблит и бороной царапает

«свою десятинку».

– Ну, послушайте, уж насчет «десятинки», кажется, нельзя сказать, чтобы умильничали. Вряд ли из умиления произошел 1905 год.

– Именно потому, что одни над «десятинкой» умилялись, другие о «десятинке» позаботились. Но ведь не в «десятинке» суть. Один саратовский помещик продал свое имение крестьянам, сговорился по 200 рублей десятина. Приехал банковский оценщик, оценил землю много больше – помещик получил лишних тысячи четыре. Он не хотел их взять – бывают такие чудачки, – отдал крестьянам и эти четыре тысячи. Что же, спрашиваю я того господина, который мне про это рассказывал, как живут крестьяне? Хуже прежнего: они зарабатывали больше, чем сами собирают. Значит, не в «десятинке» дело.

– А в чем же?

– А в том, что с нею делать. В Германии на разъездах, где рельсы расходятся, в середине картофеля сидит. Дороги и поля обсажены плодовыми деревьями, и, заметьте, никто даже падалицу с чужого дерева не подберет. А у нас навоз в овраги сваливают. Ведь это все равно что наложить двугрибных – лукошками в овраг свозить.

– Зачем же это делают?

– Неохота удабривать поле, которое в будущем году достанется другому.

– Общинное землевладение?

– Да, общинное землевладение и все связанные с ним пре-
лести: атрофия чувства собственности, рабочей длительно-
сти, преемственности в труде.

– Послушайте, я не знал, что вы, эстет, такими вопросами
занимаетесь.

– Не занимаюсь и никогда не занимался.

– Но почему же вы все это знаете?

– Да я даже не знаю, знаю ли я. Мне кажется, тут никаких
знаний нет. Знание – результат изучения, а я что же?

– Да как же, – вы, что называется, в курсе.

– Позвольте. Если вы живете, ну, я не знаю, в большом
доме, где много жильцов, сталкиваетесь с теми, с другими,
ведь в конце концов вы будете «в курсе» их условий жизни
без особого «изучения». И потом, я вам скажу, что условия
здешние с теми, в которых вы живете, до такой степени не
одинаковы, что все, что бы вы ни услышали, вам представит-
ся продуктом изучения. Если у вас спросят, сколько у ваше-
го дядюшки детей, ведь вы, не «изучая» этого вопроса, от-
ветите: семь. Так и тут. Я даже жалею, что заговорил об этих
вопросах. Только перед такой городской птицей, как вы, я
и позволяю себе «пройтись по чернозему». А то разве это
сфера моего мышления?

– А интересно бывает видеть знакомого человека, пере-
саженного в другие условия жизни, открывать в нем новые
проявления приспособляемости.

– Да, правда? Кажется, другой человек, а на самом деле

он же, но с другой стороны.

– Нет, с тех же сторон, но с новым лучеиспусканием.

– А-а-а, это новое слово на замену слова «реагирование»? Одобряю, хотя немножко не нравится мне какой-то в нем медицинский звук.

– Я знаю, что вы разборчивы, но в живой речи приятны иногда неожиданности, и даже грамматическую оскорбительность можно простить ради живописности.

– Ничего не имею против оскорбительности грамматической, когда она является результатом экспромта. Но ошибки в форме установленных и даже «утвержденных» образцов...

– А искание слов какие иногда внушает неожиданности! Я помню, покойная княгиня Мария Васильевна Воронцова искала раз фамилию: «Ну, как его, как его... Вы знаете... „Гром победы, раздавайся“». Конечно, все сейчас подсказали.

– Ну, гром *этой* победы, кажется, уже не раздастся... Мы подъезжаем.

– Так это ваша знаменитая Павловка?

– Ничем не знаменитая, как только тем, что, когда к ней подъезжаю, я вспоминаю, как «прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать»...

– А теперь?

– А теперь? Помните, как кончается это «лирическое место» у Гоголя? Или вы, как Белинский, не любите его «ли-

рические места»?

– Люблю, люблю всего.

– Но не помните?

– Не помню. Как кончается?

– «О моя юность! о моя свежесть!»

– Позвольте вам сказать, что это с вашей стороны фиглярство.

– То есть?

– Мы *всегда* юны, мы *всегда* свежи, потому что мы *всегда живем*.

– Ваша правда, даже здесь, в автомобиле...

– «В ночную пасмурную пору».

– Мы въезжаем. Чувствуете, как аллея вас обнимает? Теперь вы пленник.

– Как – пленник?

– «Я не предвижу возражений».

– Да я возражаю против термина.

– Вот огни... Свисток... поворот – вы дома.

Павловка,

13 октября 1911

6. Былое – Павловка

Елене Сергеевне Рахмановой

*Люблю от бабушки-Москвы
Я слушать толки о родне,
О толстобрюхой старине.*

Пушкин

– А это что?

– Это портрет моей бабушки, княгини Марии Николаевны Волконской, жены декабриста, – в Чите, у окна сидит, а в окно виден острог.

– Чья работа?

– Бестужева.

– Декабриста? Конечно, ведь он всех их писал.

– Ну да.

– А этот милый *interieur*?

– Это гостиная в Зимнем дворце, и за столом, в вольте-ровском кресле, княгиня Волконская, мать декабриста. Она была обер-гофмейстерина.

– В то самое время, когда?..

– В то самое время.

– Вот красноречивое соседство: мать в Зимнем дворце, жена в Читинском остроге. А что же, она как себя держала

во время допроса?

– Уж не знаю, но думаю, что петел много раз кричал... К сыну она на свидание в крепость не пошла – боялась «потресения»... Про нее моя бабушка в записках своих говорит: «Придворная дама в полном смысле слова».

– Она кто была?

– Репнина, дочь фельдмаршала, последняя в роде; у ее сестры, Голицыной, не было детей, и она просила старшему своему сыну присвоить титул князя Репнина.

– Так что старший брат декабриста...

– Да, возобновленный Репнин, женатый на Разумовской, был вице-королем Саксонии в 1813 году, генерал-губернатором Малороссии. Жена следовала за ним на войну, под Аустерлицем ходила за раненым мужем.

– Знаете ли вы в истории более «красивую» эпоху, чем эта наполеоновская сказка. Именно – «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой-то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходят в придворных полонезах.

– И потом, какая удивительная красота для глаз.

– А кто это другая – сидит со старухой за столом?

– Это у нее была такая Жозефина, швейцарка, компаньонка. Сохранилась большая пачка писем этой Жозефины: она аккуратно отписывала в Сибирь о всех семейных событиях, болезнях, крестинах, свадьбах, как дети растут: «Господин

Александр обещает вырасти в необыкновенно изысканного юношу, сын мадам Алин – свежий и краснощекий малыш».

– Как мило. Печатать стоит?

– К сожалению, нет, в конце концов дребедень. Да, вы знаете, что и от старухи гофмейстерины осталось пять тетрадок – путевой дневник: она сопровождала великую княгиню Екатерину Павловну в заграничное путешествие. Но ничего более бессодержательного нельзя себе представить. Баронесса Оберкирх прямо *историк* в сравнении с ней.

– На каком языке?

– По-французски, с ужасными орфографическими ошибками.

– И к чему это нужно было? Я понимаю французский язык, но без ошибок, тому, кому по-французски почему-нибудь легче, чем по-русски. Но ведь этого ни в одной стране нет, чтобы люди сходились и друг с другом дурно объяснялись на иностранном языке.

– Но и в этом есть своя неизъяснимая прелесть прошедшего. Моя бабушка, жена декабриста, тоже писала свои записки по-французски.

– Ну да ведь это совсем другое.

– Правда, это ни на что другое не похоже?

– Это отсутствие литературности при трагической глубине не выдуманного, а рассказанного...

– Вот посмотрите: внутренность хаты. Сидит за клавирами дама, прическа кверху с гребнем, около нее, присло-

нившись к стене, мечтательный господин, на стене несколько маленьких портретов – мелко, но разобрать можно. Под этим была подпись – к сожалению, переплетчик обрезал: «Serge et Marie Wolkonsky a Nertchinsk» – рукою фельдмаршалыши, сестры декабриста.

– Как трогательно.

– А эти портреты, которые «там» были, вот они, узнаете? У меня есть и книжки, которые «там» были: томик Ламартина, маленькое издание Шекспира; на заглавном листе: Marie Wolkonsky.

– А почему же вы знаете, что они «там» были?

– На том же заглавном листе вдоль переплета написано: «Читал. Лепарский».

– Знаменитый комендант Читы и Петровского завода?

– Да, имя которого окружено таким светом уважения в памяти декабристов, а через них и вплоть до нас. Подумайте, что бы это могло быть – это официальное «распечатывание» – в руках другого человека. И при такой должности, при таких обязанностях оставить такую память...

– Но еще трогательнее, по-моему, эти портретики на стене хаты, и которые узнать можно. А клавикорды? Она была музыкантша?

– Да, она играла и пела. И, должно быть, с искусством пела, потому что, например, пела такие вещи, как «Ah, quelle nuit» из «Черного домино» Обера. Вы помните?.. А клавикорды, вероятно и даже наверное, те самые, которые невест-

ка Зинаида в Москве без ее ведома подвязала к кибитке, когда она уезжала в Сибирь.

– Это та самая, не правда ли, Зинаида Волконская, урожденная Белосельская, которой посвящены «Цыганы», – «царица муз и красоты»?

– Да.

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.

– Как трогательно описание музыкального вечера, который Зинаида устроила для своей невестки перед ее отъездом в Сибирь, это описание, найденное в бумагах Веневитинова.

– Да, вы знаете, были найдены мелкие клочки бумаги, и, когда их сложили, прочитали описание этого вечера, о котором бабушка говорит в своих записках. Веневитинов был на этом вечере. Да кто же не бывал у Зинаиды! Друг Пушкина, Мицкевича, Шевырева, Веневитинова... Это у нее в Риме, в несуществующем теперь palazzo Poli, Гоголь так неудачно читал «Ревизора» – благотворительное чтение, которое кончилось при почти пустом зале.

– Она была католичка?

– Да, и причислена к лику «блаженных». Она под конец жизни все раздала; она умерла от простуды, потому что зашла под ворота снять с себя теплую нижнюю юбку и отдать

ее бедной.

– Кто бы мог подумать, глядя на портрет Бруни – в рыцарском костюме, который был на Таврической выставке...

– Это в роли Танкреда Россини, она пела его на спектакле-гала на Веронском конгрессе.

– Какие сближения, какие сопоставления: одна невестка – Танкред, Верона, другая невестка – Нерчинск, Чита...

– Да, уж контрастами никто так не богат, как Россия. У Александра Столыпина, который в студенческие годы писал стихи, и очень недурно, была поэма. В одной главе описывалась тройка по слякотной осенней дороге, ямщик, тарантас, солома...

– Одним словом – «чернозем».

– Да, и после чернозема новая глава начинается: «Я помню бал в Концертном зале».

– Эффектно...

– Но эффект между Концертным залом и Читой больше всех других.

– И сколько длился этот «эффект»?

– От 26 года до 56-го.

– Тридцать лет... А как совершилось помилование?

– По коронационному манифесту.

– Нет, я хочу сказать, как вы, то есть семейные как узнали?

– А-а-а... это тоже «страница». Мой отец, тогда юный чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, графе Муравьеве-Амурском, приехал в

Москву.

– Разве сыновьям декабристов был разрешен съезд?

– Ни разрешен, ни запрещен. Муравьев этим воспользовался и послал отца с официальным поручением. Так «вопрос» был разрешен, прежде чем успел возникнуть. Странно, что никто тогда не знал, чего ждать для декабристов, все ждали смягчения, но никто не смел мечтать о помиловании. Помню, отец рассказывал, что в самое утро коронации они с сестрой сидели на эстрадах для публики на Кремлевской площади и видели, как молодой, элегантный Тимашев, будущий министр внутренних дел, издали показывал дамам свои только что полученные аксельбанты. «А мы еще ничего не знаем о нашем отце»...

– А сестра вашего отца почему была в Москве?

– Она приехала с матерью много раньше; ведь на женщин запрещения не распространялись.

– Так что и жена, и дети декабриста во время коронации Александра II были в Москве?

– Да, в доме Раевских на Спиридоновке, и ждали. Продали до вечера. Во время обеда – курьер: требуют отца во дворец. Приезжает. Выходит – вот не помню кто – с пакетом в руке: «Государь император, узнав, что вы находитесь в Москве, поручил передать вам указ о помиловании декабристов, с приказанием везти его в Сибирь». В тот же вечер – Москва в огнях и в музыке, а отец уезжал в Иркутск. Никто ни раньше, ни после не совершил этого переезда скорее, но

последние сутки он уже не мог ни сидеть, ни лежать: доехал на четвереньках. По дороге в Иркутск он заезжал ко всем декабристам, жившим на пути, благовестником помилования; он заезжал в Ялуторовск к Пущину, своему крестному отцу, к Якушкину, Оболенскому, Батенькову и другим, а в Красноярске к единоутробному брату своего деда Раевского, Василию Львовичу Давыдову. Подъезжает к Ангаре поздно вечером; надо на лодке переезжать. Нанял баркас. Большие, тяжелые тучи; на той стороне, на высоком берегу вырисовывается Иркутск. Течение сильное, относит все дальше от города. После высадки надо было бежать вверх по берегу. Наконец город и наконец дом. Отец звонит, – за дверью голос отца: «Кто там?» – «Это я, привез прощение». Вот как узнали.

– Вы помните вашего деда?

– Помню фигуру с большой белой бородой и длинную трубку. Удивительно, что и столько помню – мне было четыре года. Даже отчетливо помню, что «помню» его два раза. Один раз – в Фалле, в бенкендорфском майоратном имении под Ревелем, где он гостил у жены своего племянника, князя Григория Петровича, моей бабушки с материнской стороны; он жил в маленьком, не существующем теперь флигеле; другой раз помню его в Петербурге, в том же доме, где и мы тогда жили, только наверху – на углу Малой Морской и Гороховой, дом Татищева. Помню, что мы с братом ужасно шалили и что дедушка велел своему камердинеру Степа-

ну вывести нас. Этот Степан прожил очень долго, не знаю где шатаюсь. Иногда во время прогулок он нам попадался; мы, дети, боялись его; он имел такой вид всегда, во всякое время года, как будто продрог до костей, всегда полупьяный, с красным носом; он на улице целовал нам руку и говорил всегда по-французски.

– А как он узнал про освобождение крестьян?

– Степан?

– Нет, дедушка.

– Он был в Париже. Он был в церкви – церковь на улице Дарю, – когда читался манифест. Можете себе представить: весь в слезах, колени дрожат... Был тут же Тургенев, Николай, бывший декабрист, но который бежал. Дедушка, как и все другие декабристы, с ним порвал – не встречались, не говорили. Но здесь, представьте, подходя к кресту, очутились рядом. Дед мой, оттого ли, что считал, что за Тургеневым были заслуги в общем деле, или просто под наплывом чувств, отступил на шаг и, как бы давая дорогу ко кресту, сквозь слезы воскликнул: «Тебе первому!» Тургенев тоже отступил на шаг, оглядел его и спросил: «Кто вы такой?» В эти же дни в Париже был забавный инцидент. Вдруг в доме разнесся слух, что у дедушки на ноге гангрена; вся ступня синяя, а накануне только немножко болела, и он повязал ее шелковым платком. Послали за знаменитостью: надо ногу резать. Перед операцией приходит старая нянька-сибирячка, Мария Матвеевна, обмыть ногу; обмыла, полотенцем стала

вытирать – полотенце синее, а нога белеет. Весь переполох от синего шелкового платка.

– А первый приезд в Петербург?

– Из Москвы по железной дороге. Знаю, что не узнавал ничего, только когда поравнялись с домом Белосельского у Аничкова моста, сказал: «Ну, теперь я вижу, что Петербург».

– Ведь долго въезд был запрещен?

– Тут помогла великая княгиня Мария Николаевна. Она просила брата, и благодаря ей был разрешен и въезд в столицу, и выезд за границу. Когда отец мой представлялся Александру II, чтобы благодарить за снятие последнего стеснения, он не мог удержаться от желания поцеловать руку государю, но государь сказал: «Нет, обними меня».

– Все-таки не последнее стеснение – титул не был возвращен.

– Если хотите это называть «стеснением». Но это даже не бросалось в глаза. Как-то не замечали, об этом не думали – меньше всех он сам. Он считал, что он всегда был тем, чем родился, для семейных он был l'oncle Serge, дядя Сережа, а для других – le prince Serge, князь Сергей. Моя тетушка, Елена Сергеевна, как и отец мой, родилась в Сибири и, как родившаяся от нетитулованного отца, пишется: «рожденная Волконская».

– Как интересно, это, может быть, да и наверное, последний живой документ декабризма.

– Да, в визитной карточке кусочек истории.

– Сколько воспользовалось возвращением титула?
– Только двое и было – мой отец и Трубецкой.
– Ну-с, а ваша тетушка, Елена Сергеевна Рахманова...
– Да, Молчанова, Кочубей и в третьем браке Рахманова. Ее первый муж умер сумасшедшим в холерный год в Москве, а она молодой восемнадцатилетней вдовой, писаной красавицей, приехала в Петербург. Остановилась в Hotel d'Angleterre на Исаакиевской площади, но через полчаса приехал за ней двоюродный брат, Дмитрий Петрович Волконский, сын фельдмаршала, светлейшего князя Петра Михайловича, женатого на сестре декабриста, «знаменитой» Софии Григорьевне, и повез ее к тетке, княгине Екатерине Алексеевне Волконской, рожденной Мельгуновой, известной под именем *la tante militaire*, тетки-военнослужащей. У нее на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка, в теперешнем доме Черткова, по воскресеньям собиралась вся семья. Елену Сергеевну обласкали.

Рodne, прибывшей издалече,
Повсюду ласковая встреча.

Через несколько дней она переехала к тетке, княгине Софье Григорьевне, жене фельдмаршала и министра двора, которая жила на Английской набережной, у тестя своего Дурново.

– Это еще больше подчеркивает контрасты: мать декабри-

ста обер-гофмейстерина, сестра фельдмаршальша, зять министр двора...

– И ничего все это не значило. Фельдмаршал очень любил свою красавицу племянницу; она часто ездила в его ложу. Однажды государь спросил его: «Кто это у тебя в ложе красавица сидит?» – «Это моя племянница». – «Какая племянница?» – «Дочь Волконского». – «Какого Волконского?» – «Сергея». – «Ах, это тот, что умер». – «Он, ваше величество, не умер». – «Когда я говорю, что он умер, значит, он умер»... Однажды встретились у постели больного фельдмаршала. Докладывают о прибытии государя. Тетка встала, хотела выйти; фельдмаршал сказал ей: «Останьтесь». Государь пробыл полчаса, был чрезвычайно милостив к больному...

– Отчего вы про жену фельдмаршала сказали «знаменитая»?

– О, потому что, как говорится, «это был тип-с». Скупая и клептоманка. Когда она, в кои веки, что-нибудь кому дарила, то всю жизнь не прощала своего подарка; как увидит подаренный предмет: «Это я тебе дарила». Обыкновенно же ее подарки делались так: на свадьбе или на крестинах при всех гостях передавался большой, завернутый в бумагу пакет с поручением открыть, «когда будете одни». Когда пакет развертывался, в нем оказывался в бесчисленном количестве бумажек завернутый золотой. Жена фельдмаршала и министра двора не ездила иначе как в третьем классе, и ко-

гда ее ловили, она говорила, что это для изучения нравов. Где не было железных дорог, она ездила в дилижансе, на империае. Однажды в Швейцарии ее хотели арестовать как воровку, потому что увидали, что у нее в чулке напиханы бриллианты; она подняла такой гвалт, объявила, что будет писать папе, королям, королевам... Она, действительно, была в переписке со всей Европой. Гизо, королева Гортензия, кого только не было в числе ее корреспондентов! Она всюду была, всех знала: она близко была замешана в известное «дело Лабедуайера».

– Как они успевали в то время так жить, при отсутствии и скудости железнодорожного сообщения!

– Ведь она и в Сибири была. Как же, навещала брата, в Иркутск приезжала в 1854 году. Отец как раз тогда возвращался из китайской экспедиции, привез массу вещей с собой... Во время этой экспедиции, а может быть, и другой, не помню – простите, перебыю, но это стоит рассказать, – попал отец, как раз под Светлый праздник, в глухое, бедное селение – несколько лачужек. Разместились по избам, а вечером собрались где было попросторней – встречать Пасху. Только разговеться нечем: кроме копченой рыбы, ничего. Молока? Ну разве коровы водятся! Птицы? На весь поселок одна курица, и та почему-то не несется! Собрались; отца попросили Евангелие прочитать...

– Да, в такой глуши это можно было, а то в недавние блаженные времена становой доносил по начальству, что разо-

гнал молитвенное собрание, причем отобрал «книгу, именуемую Евангелием». Простите, перебил вас...

– Прочитал отец «В начале бе Слово», пропели «Христос Воскресе», вдруг под окном девочка кричит: «Снесла! Снесла!...» Стук в окно, и через форточку просовывается яйцо. Тут же его сварили, разрезали на девять частей – разговелись...

– Так ваш отец возвращался из экспедиции...

– Возвращается и слышит – тетка приехала.

– Простите, еще перебую, какая экспедиция?

– По установлению китайской границы и по заселению Амура. Ведь первые русские поселения на Амуре отцом основаны.

– Ну-с, продолжайте. Ваш отец возвращается...

– И слышит – тетка приехала. «Ну, думает, не много у меня привезенных вещей останется». Разложил на столах вдоль стен: «Мишель, ты ведь мне разрешишь выбрать?» – «Как же, тетушка... Буду счастлив...» Три дня с лорнеткой обходила столы – через три дня ничего не осталось. Он спас лишь соболью шкурку, которую привез себе на шапку. На четвертый день исчезла и соболья шкурка. Стал искать – у тетки из-под подушки мордочка торчит.

– А какова она была собой?

– Я ее помню старухой за год до смерти в 1867 году в Женеве, в Hotel du Rone. Она была страшная старуха, с густыми черными усами, с шишками на лысой голове. Помню, как ее

компаньонка, горбатая итальянка Аделаида, совместно с камердинером Дементием ее шнуровали: она спала в корсете.

– А почему же камердинер?

– Она не держала горничную – из экономии. Ведь она, отъезжая из гостиницы, уносила свечи: «запложено за них, что же им пропадать». Во Флоренции она каждое утро через весь город бегала на ту сторону реки к племяннице Репниной, чтобы у ее девушки причесываться. В гостиницах ее звали «княгиня, у которой вместо горничной – казак». В деревне она каждое утро брала воздушную ванну – в костюме Евы обходила вокруг дома, опираясь на руку старого дворецкого Каведаева; это был очень доверенный человек, от него ничто не скрывалось: «Каведаев – мои глаза». По портрету Боровиковского, она в молодости была красива. Сама она про себя так говорила своей внучке, моей матери: «Знаешь, красивой-то я как раз и не была, но я усиленно занималась игрой на арфе, и рука у меня была как отлитая, да и по правде говоря, я знала, что нравится мужчинам». Английский король Георг IV подарил ей чайный сервиз (сейчас у нас хранится), так, показывая его, она всегда прибавляла: «Это не был королевский дар, это был подарок мужчины женщине».

– Интересно все это, вы бы должны записать.

– Ну как же такие обрывки записывать, в какую форму их уложишь? И потом, вот вы говорите – интересно, а другим...

– Все интересно, всякая мелочь интересна. Ведь это только Герцен возмущался камерфурьерским журналом, гово-

рил, что позорно вести запись того, кто с кем обедал или ужинал. А теперь не так к старине относятся... Так что вы в этой комнате собрали воспоминания о Сибири?

– Сибири и всего, что относится к нашим декабристам. Вот отец Марии Николаевны, Николай Николаевич Раевский.

– Смоленский герой? Который повел в бой двух своих сыновей?

– Да, в деле при Дашковке. Младшему было четырнадцать лет. В четырнадцатом году этот мальчик был в Париже; в офицерском мундире раз он пришел в Comedie Francaise. Билетерша не хотела его впускать: «Извините, мсье, детям входить в партер не разрешается». Тогда он ей громким голосом на весь театр из «Сида»:

Je suis jeune, il est vrai, mais aux ames bien nees

La valeur n'attend point le nombre des annees.

Не спорю, молод я, но зреет раньше срока

Бесстрашие в душе воистину высокой.

Сейчас же все кругом: «Позвольте войти! Позвольте войти!»

– Жена Раевского была Константинова?

– Софья Алексеевна, дочь библиотекаря Екатерины Великой, а мать ее – дочь Ломоносова.

– Так что прямое потомство Ломоносова...

– Другого *прямого* нет, как потомки Софьи Алексеевны

Раевской, ее сыновей и дочерей, то есть Раевские, внуки Николая Николаевича младшего; граф Ностиц – внук Александра Николаевича, пушкинского «Демона»; Орловы, князя Яшвили и Котляревские, внуки Екатерины Николаевны Орловой, и внуки княгини Марии Николаевны Волконской – Волконские, Кочубей, Рахмановы и Джулиани.

– Почему же теперь, по случаю Ломоносовского юбилея, откопали каких-то потомков сестры?

– Уж не знаю. Вероятно, «умилительнее». То дворяне, князья, графы, а то скромная серость.

– Вы понимаете вообще это чествование потомков на юбилеях? Мне было бы конфузно быть внуком Пушкина или племянником Гоголя.

– Не только чествования, но мне кажется, если бы в ресторане на меня кто-нибудь показал: «Вот племянник Гоголя», я бы сказал: пожалуйста, я тут ни при чем.

– Правда, у Софьи Алексеевны Раевской была незамужняя сестра?

– Да, Екатерина...

– За которую три раза безуспешно сватался баснописец Крылов?

– Так. У меня в библиотеке несколько книжек, ей принадлежавших, с ее именем на переплете: Catherine Constantinoff. Прелестные издания XVIII столетия – «Julie», «La nouvelle Eloise». Они последние годы жили в Италии. Софья Алексеевна и похоронена в Риме на Тэстачо. Сестра моей бабушки,

Елена Николаевна Раевская, похоронена в Фраскати.

– Та, в которую был влюблен Пушкин? Или он был влюблен во всю семью?

– Пушкин, действительно, был влюблен во всю семью, но настоящее, глубокое чувство, – это было к бабушке Марии Николаевне. Знаете, что по последним исследованиям Петра Осиповича Морозова теперь несомненно, что «Полтава» ей посвящена; найден вариант посвящения, в котором вместо «Твоя печальная пустыня» стоит – «Твоя сибирская пустыня»:

Тебе – но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, не признанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе –
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя сибирская пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

– А от Пушкина что-нибудь сохранилось?

– Вот кольцо: он положил в лотерею, моя бабушка выиграла.

– Покажите... Лодка и в ней три амурчика... По *волнам!*.. И ей же досталось!..

Я помню море пред грозой:

Как я завидовал *волнам*,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к ее ногам!

– А как трогательно читать о ней же:

Ах, ножки, ножки, где вы ныне,

Где мнете вешние цветы?

Да, где они мяли, почти тридцать лет мяли вешние цветы?.. Вы знаете, что деду было поручено завербовать Пушкина, и он не выполнил поручения – угадал гения и не захотел его губить. Подумайте, – лишиться Пушкина в 25 году!..

– Какою прелестью проникнуты эти отношения.

– Да, но я думаю, что с годами вся прелесть пушкинского эпизода испарилась из памяти, или если не из памяти, то из сердец. По крайней мере Екатерина Николаевна Орлова, та из них, которая пережила всех сестер, была в негодовании на Некрасова за то, что он воспел этот эпизод: «Вовсе мы не так были воспитаны, чтобы с молодыми людьми по бере-

гу моря бегать и себе ноги мочить». Но она не знала, что ее сестра в своих еще не напечатанных записках с трогательной простотой и наивным благоговением перед поэтом рассказала о промоченных ботинках; что там, «во глубине сибирских руд», где они «хранили гордое терпенье», она хранила скромную память о том, что великий гений «нашел эту картину такую красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только пятнадцать лет».

– Но самое удивительное в этом, это как декабристы не заглохли там, как и не забыли – я не говорю в историческом смысле, – а в смысле семейном, общественном. Ведь они вернулись, можно сказать, как будто только вчера уехали.

– Это сделали жены. Они прямо упразднили расстояние и время: это была непрерывная связь с Петербургом, связь во всем, что есть живого, горячего в человеческой душе. И это в те времена, без железных дорог и телеграфа. Удивительны записки моей бабушки, но столь же удивительны письма – их осталось довольно много, – не «интересные», если хотите, но полные повседневности, полные тех мелочей, из которых слагается житье-бытье и которые «там», благодаря дальности, трудности, исключительности положения, получают окраску героизма. И кто бы мог тогда подумать, что тот же сын, о разрешении которому поступить в гимназию она писала Бенкендорфу из Иркутска, через шесть лет после окончания курса, в Женеве, женится на внучке того же Бенкен-

дорфа.

– Да, сын декабриста на внучке Бенкендорфа!

– С исторической точки зрения это представляется большим сближением крайностей, чем на самом деле. Отношение потомства к Бенкендорфу мне не кажется соответствующим справедливости. Посмотрите, как мой дед говорит о его «чистой душе» и «светлом уме». Ведь они же вместе служили, воевали, кутили. А что он говорит о чинах жандармского ведомства: «Как изгнанник, я должен сказать, что во все время моей ссылки голубой мундир был для нас не лицом преследования, а людьми, охранявшими и нас, и всех от преследования».

– А знаменитые слова Николая Павловича о Бенкендорфе: «Он меня ни с кем не поссорил, а со многими примирил». Кто заслужит подобный отзыв на подобной должности?

– Да, если есть фигуры, ждущие оценки, то Бенкендорф ждет переоценки.

– Я бы почти сказал, что он ждет своей аполгии.

– Может быть. Фигура удивительно благородная: что-то ясное, непоколебимое, отсутствие сомнения. Он был из породы основателей городов, из тех, чье желание не умирает после смерти. Его знаменитый Фальш под Ревелем – это целое огромное создание, художественно единое, возникшее из ничего, сразу, по приказанию. Вот только династии он не основал.

– А теперешние графы Бенкендорфы?

– От племянника, он просил государя ему передать титул, от которого сам уже два раза отказался, так как не имел сыновей: у него было три дочери. Но как странно, не правда ли, что, пойдя по женской линии, Фалль перешел в род Волконских.

– По жене?

– Нет, жена его была Донец-Захаржевская, а – по дочери.

– Старшая дочь была за Волконским?

– И это нет, старшая, Анна Александровна, была за венгерским графом Аппони и должна была отказаться от унаследования майоратом, а вторая, Мария Александровна, за светлейшим князем Григорием Петровичем Волконским, сыном фельдмаршала и «знаменитой» Софьи Григорьевны.

– И значит, по матери, родным племянником декабриста?

– Угадали. Bravo, вам надо поступить в генеалогическое общество. Его женитьба прелюбопытная...

– Чья женитьба? Волконского?

– Бенкендорфа.

– Ну так постойте, сперва третья дочь.

– Третья дочь была сперва за Демидовым, потом за князем Кочубеем, владельцем Диканьки.

– Ага. Ну так теперь женитьба Бенкендорфа. Она была Захаржевская?

– Постойте, не торопите. В Харьковской губернии, в старой усадьбе по имени Большие Водолаги жила Мария Ан-

древна Дунина, урожденная Норова. Сама мать многочисленного семейства, она взяла еще на воспитание двух дочерей своей сестры Захаржевской. Старая наседка, Мария Андреевна широко распространяла патриархальное владычество своих мягких, но и крепких крыльев. Дочери, племянницы выходили замуж, но яблочки недалеко падали от яблони, и вокруг большого дома с каждой новой свадьбой вырастал новый дом. Весь Харьков ездил на поклон в Большие Водолаги. Однажды в Харьков приезжает высочайше командированный молодой флигель-адъютант Александр Христович Бенкендорф. Ему говорят: «Вы, конечно, будете у Марии Андреевны Дуниной?». – «У Марии Андреевны Дуниной?» – «Как, вы не будете у Марии Андреевны Дуниной?» Он увидел такое изумление на лицах, что, не теряя ни минуты, сказал: «Конечно, я буду у Марии Андреевны Дуниной». Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь, и входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Когда положение обрисовалось, Мария Андреевна нашла нужным собрать справки. Фрейлина Екатерины Великой и поддерживавшая переписку с императрицей Марией Феодоровной, она за справками обратилась не менее не менее как к высочайшему источнику. Императрица вместо справки прислала образ.

– А две маленькие девочки?

– Дочери от первого мужа, Бибикова, убитого в двенадцатом году: одна – будущая баронесса Офенберг, а другая, Елена Павловна, сперва княгиня Белосельская, а потом княгиня Кочубей.

– Как, княгиня Елена Павловна, дом Белосельского на Невском?

– Дворец великого князя Сергея Александровича.

– Гофмейстерина при Александре III?

– Да, да, отчего вы так удивляетесь?

– Да так это вдруг приблизилось. То Екатерина Великая, а то вдруг дом Белосельского, куда ездили в детстве к заутрене, на елку...

– Да ведь так мало нужно людей, чтобы покрыть столетие. Моя прабабушка говорила матери, что, когда она была ребенком, одна жившая в их доме древняя старушка ей сказала: «Всякий раз, как ты увидишь этот цветок, ты вспомнишь про меня». Я сделал подсчет: эта старушка родилась по меньшей мере при Елизавете, а то и раньше. Значит, немного уж до двухсот лет, а я только четвертые уста или даже, если хотите, – третьи уши.

– Какой цветок? Я тоже как-нибудь передам.

– Такой высокий, с розовой метелкой, растет в сырых местах. В Фалле его много. Да вы можете выбрать свой цветок, зачем вам непременно...

– Нет, я не хочу быть родоначальником, я хочу воспользоваться готовой преемственностью.

– Как мы любим примыкать, как мы любим прислоняться, как мы любим «продолжать», как мы не любим «начинать»!

– Да, только Наполеоны «начинают».

– Во всякой работе и во всяких отраслях это так. Вы знаете, Бальзак говорит о литературном труде: «Его покидаешь с сожалением, к нему возвращаешься с отчаянием». И я бы не устроил все это, если бы не было к чему прислониться, не было что «продолжать».

– «Портретную» вы устроили?

– Да, ее прежде не было. Я собрал все, что нашел по прямой восходящей линии. Конечно, копии, ведь надо было брать из разных домов, у близких и дальних родственников.

– И вы взяли и привезли под сень ваших дубов?

– Привез под сень. И прямая линия, как видите, восходит довольно далеко. Вот портрет отца, увеличенный с акварели, сделанной в Париже в год свадьбы, в 1859 году. Вот его мать, княгиня Мария Николаевна, рожденная Раевская, жена декабриста. Вот ее мать, Софья Алексеевна Раевская, рожденная Константинова, – с портрета Боровиковского; она в белом ампирном платье с орденом Св. Екатерины; на ней черный парик, потому что портрет писался, когда у нее после тифа были обстрижены волосы. Вот теперь ее мать, дочь Ломоносова; портрет, к сожалению, не с натуры, а по бюсту, сохранившемуся у моей тетки, Ольги Павловны Орловой, рожденной Кривцовой, в ломоносовском имении Рудицах под Ораниенбаумом. И наконец, вот Ломоносов. Пять поколе-

ний; это самая длинная линия, которую мне удалось составить. Была бы она еще длиннее, от отца до матери Потемкина – шесть поколений, но не хватает одного звена.

– А где вы откопали мать Потемкина?

– На Таврической выставке она была; я просил у владелицы портрета, графини Браницкой, позволения скопировать его.

– Какое родство?

– Сестра Потемкина была за графом Самойловым, а дочь Самойлова, Екатерина Николаевна, – за Раевским, мать смоленского. Вот ее портрет с Боровиковского. Таким образом, все многочисленные племянницы Потемкина были тетками моей бабушки. Она упоминает в записках тетку Браницкую, «которая жила богатой и влиятельной помещицей», у которой на пути из Каменки в Петербург она останавливалась в Белой Церкви.

– Да, конечно, знаменитая красавица Браницкая-Энгельгардт, – чудный портрет Бромптона.

– Чудный портрет Бромптона – это для дальнего потомства, а ближнее знало лишь ее невероятную скупость.

– Не правда ли, тут есть еще родство с Давыдовыми?

– Как же, после Раевского Екатерина Николаевна, рожденная Самойлова, вышла вторым браком за Давыдова. Это были две многочисленные семьи; жили в Каменке – очаг декабризма, – где Пушкин бывал, где написал «Кавказского пленника». Давыдовых было много. Старший сын, Петр

Львович, был женат на графине Орловой, и его сын получил титул Орлова-Давыдова. Александр был женат на дочери маркиза Грамона. Его сын был прекрасный скрипач, обладатель знаменитого «Страдивариуса»; он был первым мужем фельдмаршальши Барятинской. Василий Львович Давыдов, декабрист, был женат на неизвестной, воспитаннице своей матери, Александре Ивановне, которая последовала за мужем в Сибирь. Их сын, Лев Васильевич, был женат на Чайковской, сестре композитора, и сыну их Владимиру, бедному, милому Бобу Давыцову, покончившему самоубийством в Клину, в усадьбе, перешедшей к нему от Петра Ильича, посвящена Шестая симфония...

– Как близко опять стало, точно выехали на большую дорогу.

– «Выходим, чтобы снова взглянуть на звезды»... В Каменке, у Екатерины Николаевны Давыдовой, жила еще другая воспитанница, дочь дворецкого. Она была на правах члена семьи, но когда за обедом отец ее, подавая блюда, доходил до нее, она должна была вставать и целовать ему руку. Она вышла замуж за Стояновского и была матерью известного в Петербурге сенатора, члена Государственного совета, вице-председателя Русского музыкального общества и проч. Вот вам родство с Потемкиными и близость с Давыдовыми.

– Какого же звена недостает у вас?

– А вот есть мать Потемкина, видите, эта старушка в чепце, которая рукой сдвинула свой бурнус, чтобы показать

осыпанный бриллиантами портрет императрицы Екатерины; есть *племянница* Потемкина – Раевская, рожденная Самойлова, а нет *сестры* Потемкина; понимаете, у меня бабушка и внучка, а дочери нет, и нигде не мог найти Самойлову, урожденную Потемкину.

– Ну а другие линии?

– Все только по четыре поколения. Вот отец, вот декабрист.

– Этот портрет князя-декабриста я знаю, это с Дауского портрета, который в галерее 12-го года в Зимнем дворце.

– Да, он был в 1826 году, по повелению Николая I, удален, а в 1903 году директором Эрмитажа, Иваном Александровичем Всеволожским, найден на чердаке Зимнего дворца и по высочайшему повелению водворен на место.

– Так что портрет «возвращен из ссылки» 47 лет позднее, чем оригинал?

– Оригинал?

– О, простите, я без каламбура.

– Но представьте, что сама жизнь с каламбуром. Он в самом деле был оригинал, как ни странно прилагать это слово к таким людям. Какая-то смесь наивности и педантизма. Он очень любил огородничество, изучил его в ссылке и по возвращении им увлекался. В Малороссии, в деревне у дочери, где он жил последние годы, где и умер и похоронен, у него был свой огород; он не был обнесен ни рвом, ни забором, но ход в него был через ворота, и ключ от ворот он носил

в кармане. Когда его сыну, моему отцу, пятнадцатилетнему мальчику, захотелось прочитать «Евгения Онегина», он отметил сбоку карандашом все стихи, которые считал подлежащими цензурному исключению; можете себе представить, как это было удобноисполнимо – при легкости пушкинского стиха перескакивать строчку. Разве не оригиналы мой дед и Поджио, в ссылке проводившие долгие часы в спорах о титуле. Поджио, как «вольтеррианец» доказывающий, что титул – ничто, а мой дед, объявлявший, что если он подписывается «Сергей Волконский», то единственно из уважения к воле своего государя, а на самом деле ничто не может его лишить того, с чем он родился.

– Да уж если на то пошло, то в семье вашей оригиналы не переводились. Вот вы говорите о декабристе и о его сестре-фельдмаршальше, а отец их Григорий Семенович – ведь это я читал в книге вашей матери «Род Волконских», – как он в Петербурге каретой цугом на базар выезжал и на обратном пути сзади кареты, по обеим сторонам ливрейных лакеев, висели гуси и поросята...

– Да, это было смешно, но это было для раздачи бедным, и он же заслужил от Суворова, под начальством которого воевал, наименование «неутомимого Волконского». Вот он, в изображении Боровиковского, с Библией под сложенными руками. Очень набожный и страстный любитель старой итальянской музыки – Палестрины, Марчелло, Паэзиелло.

– Да ведь это мы говорим «старая итальянская музыка», а

для них это была современная. Паэзиелло! Паэзиелло написал по заказу Екатерины Великой своего «Севильского цирюльника» для Эрмитажного театра.

– Правда, не «старинная». Это то, что один мой приятель называет перестановка точки зрения во времени.

– А этот огромный портрет на лестнице? Какое уморительное полотно!

– Это отец предыдущего – Семен Федорович, елизаветинский генерал-аншеф и кавалер всех российских орденов, в княжеской мантии и пудреном парике, на коленях перед своим святым, Симеоном Столпником, который руками разводит, смотрит на Бога Саваофа, сидящего на облаках, и как будто говорит ему: «Я за него ручаюсь».

– Какая шутка XVIII столетия.

– Не правда ли, какой рококо. Это висело над его первой могилой в московском Греческом монастыре. Вероятно, вдова заказала. Она была Мещерская, и похоронена в московском Донском монастыре.

– Ах, да я отлично знаю прелестный надгробный памятник княгини Волконской, работы Мартоса.

– Впоследствии она перевезла прах мужа в Ярославское имение, Никольское; там же лежит дочь его, Софья Семеновна, разбитая лошадьми. У меня есть и ее портрет, тоже надгробный, со Св. Софьей – «заступницей, молящей Бога о нас». Ужасная уродка. Покойный отец всегда говорил, что лошади, наверно, оттого понесли, что оглянулись. У этого

Семена Федоровича был брат Сергей Федорович, женатый на Чаадаевой (мать их была Еропкина); у этого Сергея Федоровича был сын Николай, блестящий, красивый, – есть чудный портрет его, работы Лампи, у князя Анатолия Куракина. За этого Николая Сергеевича Волконского Потемкин хотел отдать одну из многочисленных своих племянниц, но Волконский ответил: «На твоей... не женюсь». Потемкин выдал племянницу за Голицына...

– Тоже портрет Лампи – в круглой зале Таврической выставки?

– Да, принадлежит баронессе Врангель, рожденной Голицыной, в ее знаменитом имении Казацкое. Ну-с, а Николай Сергеевич женился на Трубецкой и имел дочь Марию, которая, выйдя за графа Николая Толстого, принесла ему в приданое Ясную Поляну.

– Значит, мир лишился бы Льва Толстого, если бы племянница Потемкина не была...?

– Маленькие причины и большие следствия. Этот Николай Сергеевич, дед Льва Толстого, послужил образом для старика Болконского в «Войне и мире». Мой дед однажды, в молодые годы, встретил в Москве старика. «Знаю, молодой человек, уже давно знаю, что вы в Москве». Упрек за несоблюдение родственной почтительности. Старик приходился двоюродным братом отцу декабриста, Мария Николаевна Толстая – троюродной сестрой моему деду. Вы знаете, что за свой ответ Потемкину и непочтительный отзыв о его

племяннице Николай Сергеевич был сослан на остров Грумонт – кажется, в Белом море, – и, когда он вернулся, он, в память своего пребывания в рыболовной местности, около Ясной Поляны вырыл большой пруд, в который напустил великолепной рыбы; место он назвал именем места ссылки – Грумонт. В крестьянских устах имя исказилось, и теперь это деревня Угрюмы.

Граф Лев Львович Толстой говорил мне, что рыба до сих пор не перевелась...

– Ну-с, теперь на эту сторону перейдем.

– Это сторона моей матери. Ее родители. Светлейший князь Григорий Петрович Волконский, сын фельдмаршала; портрет поясной, взят с большого портрета во весь рост, находящегося в Фалле, – он сидит за фортепиано; работа госпожи Макушиной, урожденной Колонтаевой, она была свояченицей некоего Грегера, который заведовал делами фельдмаршалыши. Этот Грегер не пользовался симпатиями некоторых членов семьи. Он был удивительно хорош собою, и когда семейные чересчур приставали к старухе, указывая, что дела расстраиваются, она говорила: «Зато в моих имениях раса улучшается». А портрет бабушки Марии Александровны, рожденной Бенкендорф, – неизвестного, тоже из Фалля; романтический портрет – готическое кресло и столик – из «колонной комнаты», а в окно виден фалльский вид – «домик рыбака» и взморье.

– В руке письмо, а на столе распечатанный конверт с крас-

ной печатью...

– Вот над камином деда матери: фельдмаршал, его жена, сестра декабриста, «знаменитая» Софья Григорьевна, и Бенкендорф с женой.

– А правда, что по портрету Боровиковского Софья Григорьевна красива. Как красивы эти жемчуга на голой руке выше локтя. А в руках она держит...

– Рельефный медальон своего деда, фельдмаршала Репнина. Вот он в арке, а напротив – его жена.

– Два фельдмаршала в одной семье! Это, как говорят наши молодые люди, которые в немногих словах хотят сказать много, – здорово.

– Да, вам ясно родство? Вы видите: декабрист – внук по матери фельдмаршала Репнина и шурина фельдмаршала Волконского. Ведь вы знаете, он двадцати двух лет был генералом. Не помню, кто в записках упоминает, какая-то дама: сидели в ложе, вдруг входит Волконский в шинели. «Почему вы не снимаете шинели?» – «Из скромности». Он распахнулся – грудь была усеяна орденами. И дама прибавляет: «Кто бы мог подумать, что через несколько лет...»

– А жена фельдмаршала Репнина?

– Вот, напротив мужа в арке. Пудренная, с жемчугами в волосах.

– Ого, лента Св. Екатерины!

– Да ведь ее дочь, мать декабриста, гофмейстерина, – тоже Екатерининская лента. А кавалерственные дамы – все четы-

ре прабабки: обе бабки отца – Волконская-Репнина (гофмейстерина и мать декабриста), Раевская-Константинова (внучка Ломоносова, теща декабриста) и обе бабки матери – светлейшая Волконская (сестра декабриста, жена фельдмаршала) и графиня Бенкендорф. В те времена, оттого ли, что времена принадлежат истории, – но в те времена Екатерининский орден имел более, если можно так выразиться, сподвижнический характер... Что вы в раздумье смотрите?

– Я смотрю, как это у вас хорошо размещено: двое родителей, четверо дедов...

– И что же?

– А дальше, значит, было восемь прадедов, шестнадцать прадедов, тридцать два прапрапра...

– И что же?

– И я думаю...

– Что?

– Как это все ведет к одному Адаму?

– О, я об этом стараюсь не думать.

– А чьей работы портрет фельдмаршалыши Репниной?

– В семье всегда слыл за Лампи – так отец слышал от своего отца. Ведь вы знаете, эти оба портрета – Репнина и его жены – были в Сибири. Дед боготворил память своего деда. У нас сохранилось великолепное бюро, жакоб, письменный стол фельдмаршала Репнина; и мой дед ребенком сидел в конурке под столом, пока его дед занимался. Это бюро мой отец спас от продажи на рынок, его двоюродный брат Репнин

почему-то хотел от него отделаться.

– Так портрет фельдмаршалши Репниной работы Лампи, говорите вы?

– Я вам говорю, так всегда говорили, но ни подписи, ни документов не было, а лет восемь тому назад мой дядя, князь Николай Васильевич Репнин, сказал мне: «Да у меня в Яготине вся переписка по поводу этого портрета и счет Лампи». – «Предпочитаю, чтобы у вас был счет, – сказал я, – а у нас портрет».

– Кто была княгиня Репнина, жена фельдмаршала?

– Дочь Александра Борисовича Куракина, а ее мать – Панина, сестра Петра и Никиты. Вот и ее портрет с портрета Гроота, принадлежащего Елизавете Алексеевне Нарышкиной.

– Кажется, мы всех обошли. Только про вашего материнского деда, светлейшего князя Григория Петровича, вы ничего не рассказали.

– Тоже «оригинал». Весь в родителей: его мать, сестра декабриста, – «знаменитая» Софья Григорьевна, его дед – Григорий Семенович.

– Гуси и поросята?

– Гуси и поросята, молитва посреди улицы... Но среди гусей и поросят были и Палестрина, и Паэзиелло. И мой дед взял и приумножил *эту* сторону наследия. Он был выдающийся музыкант. За великолепный его бас его прозвали «второй Лаблаш». Он был другом братьев Вьельгорских,

князя Одоевского и всей этой группы дилетантов, которыми музыка в России держалась, пока не пришли наши настоящие великие музыканты. Внизу вы, может быть, видели портрет тенора Рубини с посвящением «Дорогому другу князю Григорию Волконскому». Это была большая дружба, его влекло искусство, влекли артисты. Удивление моей бабушки однажды, когда, сидя в ложе своего свекра, министра двора, она вдруг среди хористов узнает своего мужа. В Риме, где он жил долгие годы в palazzo Salviati и имел официальный титул покровителя русских художников, его дом был единственным частным домом, куда папа Пий IX отпуская петь певчих Сикстинской капеллы.

Это был тип аристократической богемы. Без всяких границ; с удивительной стойкостью правил на бумаге, философско-житейскими принципами в широковещательных письмах, писанных педантическим почерком, педантически изложенных, синим карандашом, всегда по-французски. В отличие от своей матери – необыкновенно щедрый и расточительный. Он никогда не покупал поштучно, всегда дюжинами. Он был добр и мягок. Когда он был попечителем Петербургского учебного округа, Николай Павлович часто присылал к нему студентов, замеченных на улице в каком-нибудь упущении по форме. Вместо того чтобы отсылать их в карцер, он приводил их к жене. Бабушка говорила, что много раз она поила чаем студентов-арестантов; в числе их был, между прочим, будущий статс-секретарь Перец. Супруже-

ство не было счастливо. Увлекающийся, он подпал под влияние и, слабовольный, последние двадцать лет жизни прожил в полном разобщении с семьей. Однажды, в первый год после смерти бабушки, он выразил желание повидать внуков. Мы с матерью поехали в Одессу, где он проводил осень, приезжая из своего имения под Аккерманом. Старик как будто заинтересовался новым знакомством. Проводил с нами вечера, рассказывал, но больше расспрашивал о тех, кого так давно не видал... Раз мы его упросили спеть; он спел «Adieu» Шуберта...

– Как – спел?

– Ему было семьдесят лет... Он рассказал по этому поводу любопытную вещь. Он уверял, что это достоверно, что он был в то время в Париже. Однажды приходит к одному парижскому издателю оборванный молодой человек и приносит нотную рукопись. «Ваш романс очень мне нравится, но вас не знают, вы не имеете имени, я не могу вам ничего за него дать, а сами если вы напечатаете, он еще менее разойдется».

– Обычный безвыходный круг: чтобы напечатали, надо быть знаменитым, чтобы быть знаменитым, надо печататься.

– Молодой человек в отчаянии: «Я умираю с голоду». – «Вот что сделаем: спросим у Шуберта позволение выпустить романс под его именем – нарасхват пойдет». – «Согласится?» – «Согласится». Так вышел в свет «Adieu» Шуберта. Мы пробыли в Одессе шесть дней. Однажды мы, старшие

два брата, проводили деда до его квартиры; он пригласил нас подняться к нему. На столе было приготовлено два прибора. Когда мы вошли, из соседней комнаты просунулась рука и захлопнула дверь. Неловкое молчание. Мы пожелали покойной ночи. На прощанье дед подарил каждому из шести внуков по 500 рублей. Через два месяца мы услышали, что он вступил во второй брак. На подаренные дедом деньги я приобрел себе орган фирмы Estey.

– И все-таки не все.

– Что же еще?

– А фельдмаршал?

– Ну это уж история, это не семья. Основание Главного штаба, взятие Парижа. Потом, его совершенно исключительное положение при Николае Павловиче...

– Правда, оба ваши прадеда – Волконский и Бенкендорф...

– Да, во флигеле я даже сделал комнату «Николаевскую» – портреты, бюсты, все одно к одному: готики подпустил – никто не скажет, что я устроил, всякий подумает, что досталось в наследство... Ну, довольно предков, идем «под сень дубов...»

– Нет, нет, постойте. Портрет фельдмаршала чьей работы? Это хороший портрет.

– Нашел на рынке, в ужасном виде был. Я думаю, не самого ли Крюгера, поясное повторение большого портрета, что в Зимнем дворце... Ну, идем...

– Пойдите. Еще эти два боярина.

– Один – Волконский, участвовавший в избрании царя Михаила Феодоровича, а другой – подписавший Уложение царя Алексея Михайловича.

– Откуда достали?

– Оригиналы у князя Голицына-Прозоровского в Зубриловке, то есть были в Зубриловке, а теперь не знаю, ведь Зубриловка разрушена... Ну, идемте же.

– А почему у Голицына-Прозоровского?

– Потому что бабка его была Волконская, дочь Михаила Никитича, московского главнокомандующего... Ну довольно же предков. Хотите покататься на автомобиле?.. Можем, не выезжая из парка, по счетчику сделать шестнадцать верст.

– Ну что такое на автомобиле шестнадцать верст? Со скоростью тридцати – полчаса. А ведь катаются люди для того, чтобы время убить, а не пространство.

– С тех пор что я занимаюсь Далькрозом, прямо отвертеться не могу от времени и пространства.

– Да ведь «время, пространство и различимое в них – вот все, что называется природой и будет так называться, пока по черной земле ходит человек». Это сказал китайский мудрец.

– Вы правы, и он даже прибавляет: «Это давно знают мудрецы и дети»... Ну хорошо. Мы занимались тем, что убивали время, пока говорили о предках, а теперь...

– Да вовсе не убивали, я и потребности не ощущал убивать его.

– Не о том «убийстве» я говорю, которое имеет скуку подстрекателем и *праздность* сообщником, а об убиении в смысле упразднения. Разве мы не упраздняли время, когда жили в том, что происходило столько времени тому назад?

– Да, вы разумеете то убийство времени, которое имеет *память* подстрекателем и *отзывчивость* сообщником?

– Так пойдемте же теперь убивать пространство. Отставить катание в парке – по большой дороге!

– Идет.

– По шестьдесят в час!

– Идет!

– И если, сидя в автомобиле, наслаждаясь убиением пространства, мы возобновим наш разговор и будем упиваться двойным убийством, разве не прав будет философ, сказавший, что пространство и время не что иное, как категории нашего мышления?

– Прав, прав! Истребление пространства, уничтожение времени, утверждение своего «я»!

– Просветление в точке?

– Да, да!

– Встреча «откуда» и «куда»?

– Да!

– Их слияние в одном «где»?

– И его слияние с «когда»!

– Слияние – полное?

– Совмещение!

- Совмещение – конечное?
- Осуществление!
- Осуществление – в третьем?
- В третьем – из «все» и «ничто»! Из «да» и «нет»!
- О, если бы было третье слово!!
- Не надо слов.
- Довольно смысла?
- Довольно, пока не лопнула шина.
- А когда лопнет?
- Другая.
- А когда нет другой?
- Тогда посмотрим на верстовой столб...
- Категория пространства.
- На часы...
- Категория времени.
- И пойдем домой пешком.
- Мышление...

Павловка,

14 октября 1911

7. Звезды

Жаку Далькрозу

«Порядок – вот Господь на земле»

*Предсмертные слова кн. Марии Александровны
Волконской*

– Мама, как хорошо на балконе!

– Ты здесь, милая! Так поздно? Давно спать пора.

– Я слушала... Мама, отчего, когда ты играешь...

– Что – когда я играю?

– Нет, я не так... Отчего, когда птицы поют – красиво, а

когда ты играешь – еще красивее?

– Оттого, что птицы поют как хотят.

– А ты разве не играешь как хочешь?

– Нет, я играю, как хочет сочинитель.

– Какой сочинитель?

– Тот, который сочинил музыку, которую я играю.

– А птицы?

– А птицы поют то, что никто не сочинил.

– А Мария Николаевна говорит, что пение птиц Бог сочи-

нил.

– Бог сотворил пение птиц, потому что Бог все сотворил, но он не сочинил их пение, он дал им горло и голос; так и пение людей – он сотворил человека, дал ему голос, дал ему

что нужно, чтобы сделать инструменты, а уж музыку человек сам сочинил.

– А птицы себе ничего не сочинили?

– Нет, милая, сочиняет только человек. Только человек может петь то, что хочет.

– А птицы поют всегда одно и то же?

– Одно и то же и всегда одинаково.

– А ты сперва сказала, что они поют как хотят?

– Ах ты моя умница! Ну как же тебе объяснить? Я сказала, что птицы поют как хотят, это не значит, что они поют по желанию, а это значит – как придется: то начнет, то бросит, то поклюет, то вспорхнет...

– Без порядка?

– Вот именно, без порядка. Только у человека есть порядок.

– А Мария Николаевна говорит, что на земле везде порядок: деревья каждую весну зеленеют, каждую осень листья падают.

– Это порядок из земли, а не на земле – деревья ведь из земли растут.

– Еще Мария Николаевна говорит, что вода всегда вниз течет и никогда не потечет вверх, и она говорит, что это тоже – порядок на земле.

– Нет, это тоже из земли, вода тоже из земли.

– Значит, мама, на земле нет порядка?

– Нет, милая, без человека нет.

- А Мария Николаевна говорит, что у зверей есть порядок, у муравьев, у пчел...
- У зверей тот порядок, который для них Бог установил.
- А у людей?
- Люди сами устанавливают порядок.
- Какой хотят?
- Какой хотят.
- А когда они не хотят?
- Тогда они страдают, тогда им очень трудно жить.
- Без порядка трудно жить?
- Трудно, милая, без порядка никакой радости не может быть.
- Значит, звери не радуются?
- Не так, как мы, и не тому же самому, чему мы радуемся.
- Но когда собаки бегают и играют, они так же радуются, как мы, когда мы бегаем и играем?
- Да, но когда собаки бегают и играют, они не так же радуются, как вы, когда вы ходите и движетесь в музыке.
- Мы ходим в порядке!
- Ну вот. И чем труднее порядок, тем больше радости тому, кто его соблюдает.
- А звери никогда не соблюдают порядка?
- Только когда человек их приучает. Ты видела лошадей в цирке?
- И они радуются?
- Я думаю, потому что они скучают, когда нет представ-

ления.

– А мне представление не нравится, когда нет порядка.

– И представление не красиво, когда нет порядка, и музыка не красива, когда нет порядка.

– Значит, без порядка ничего нет красивого?

– Ничего, милая.

– Нет есть, есть!

– Вот как?

– Ты сказала, что на земле нет порядка, а на земле сколько красивого.

– Так это, милая, в природе, а я думала, ты про представления, про музыку.

– Нет, мама, я говорю – на земле. И Мария Николаевна говорит, что много красивого, и она говорит, что это порядок, например цветы с такими ровными, красивыми рисунками...

– Верно, милая, – и цветы, и перышки птиц, и пчелиный сот, и раковины, которые ты так любишь, – все это красиво, и во всем этом порядок, но это такой порядок, который не движется. Понимаешь?

– А представление движется?

– Движется и должно двигаться в порядке. Понимаешь?.. Музыка движется в порядке, и представление тоже должно в порядке двигаться.

– Отчего же музыка движется?

– Милая моя, да в музыке все движется: мои пальцы по

фортепиано движутся, струны под молоточками дрожат, а когда дядя на флейте играет, – воздух сквозь дырочки дует, тоже движется. И, наконец, ноты, которые ты слышишь, звуки – ведь они не зараз, а один после другого; значит, тоже движутся. Музыка вся движется.

– И оттого мы под музыку двигаемся?

– Да, чтобы движение было в порядке. В музыке порядок, и он переходит в наше движение, в наше тело. Ты без музыки не сумеешь ведь так все проделать, как с музыкой?

– Это тот порядок, который люди выдумали?

– Они его не выдумали. Это тот же порядок, который во всей вселенной. Они не выдумали, они его нашли.

– Где же?

– В музыке, милая. В том порядке, в котором движутся звуки.

– А отчего, мама, ты говоришь, что на земле только такой порядок, который не движется?

– Есть милая, порядок и в движении, но только это порядок всегда один и тот же, этот порядок никто не выбирал.

– А человек выбирает?

– Человек выбирает, какой хочет, соблюдает, пока хочет, и меняет, когда хочет. Понимаешь?

– Понимаю.

– Ну, теперь поцелуй меня и ступай спать.

– Сейчас, мама, еще немножко... Я хотела спросить... отчего ты говоришь, что на земле порядка нет, а в земле есть?

– Ох, милая, какие ты мне вопросы ставишь. Почему на земле нет порядка, а в земле есть? Потому что порядок из земли.

– А почему же порядок из земли?

– Потому что земля – звезда, такая же звезда, как те, которые ты видишь там.

– А на звездах порядок?

– На звездах не знаю, но в звездах, между звездами – порядок, самый большой порядок, который существует в мире.

– Почему самый большой?

– Потому что всякий порядок можно изменить, а этого нельзя; а если бы самая маленькая перемена произошла в этом порядке, весь мир бы разрушился.

– Но на земле тоже есть такой порядок, который нельзя изменить. Мария Николаевна говорит, что день и ночь никогда не изменятся, и зима и лето тоже.

– Это от звезд, не от земли.

– Мама, это красивее, чем в сказке!

– Потому что это правда.

– Значит, на небе всегда порядок?

– Всегда, милая. Так Бог захотел.

– А на земле человек?

– Что – человек?

– Захотел?

– Ах ты моя умница!

– Но тогда...

- Что – тогда?
- Порядок...
- Что же порядок?
- Между Богом...
- Между Богом и человеком? Так, моя умница. Порядок – это между Богом и человеком.
- Бог захотел порядок...
- Во вселенной, а человек – на земле.
- И когда мы соблюдаем порядок...
- На земле? Тогда вы делаете на земле то, что Бог делает во вселенной.
- И когда мы ходим в порядке под музыку...
- Вы переселяете небесное в земное.
- И когда мы после этого устаем и так хорошо, хорошо засыпаем...
- Тогда звезды ложатся на землю.
- Мама, я спать пойду.
- Иди, моя умница, иди, моя милая, – звезды с тобой.

Москва,

20 октября 1911

8. Былое – Фалль

Князю Петру Петровичу Волконскому

Что сладко мне помнить, так это чудное место, где я родился.

- Так много в Фалле этого цветка, в бенкендорфском Фалле?
- Какого цветка?
- Да того, красного, что древняя старушка наказывала вспоминать...
- Масса... По берегу реки, на скалах, у ручьев около водопада...
- Водопад большой?
- Большой – не с камня на камень, а большой, настоящий, отвесный водопад во всю ширину реки.
- А река?
- До водопада тихая; в низких, мягких, зеленых берегах – черная, глубокая; а после падения – бурливая, шумящая, много пены.
- А ручьи?
- Журчат отовсюду, на поворотах, из-под кустов, будят, зовут, оглушают на каждом шагу.
- Парк?

– 54 версты дорожек. Лиственницы и каштаны самые великолепные, какие я когда-либо видел.

– Холмисто?.. Ну, конечно, раз водопад.

– И холмисто, и скалисто.

– А водопад далеко от дома?

– Тут же, перед самой террасой.

– А куда река впадает?

– В море, – из окон видать.

– Послушайте, это декорация.

– Самая красивая, какую я видел. Вы знаете, я объехал кругом света.

– Неужели красивее Таормины?

– Конечно, если вы будете брать панорамы – Этну или Альпы, то, может быть, и... Да нет, это несоизмеримо. Там у ваших ног страна, города, железные дороги – государства. Здесь все, что видит глаз, все Фалль, кроме моря, все свое. И такого красивого «своего» я не видал.

– А дом?

– Дом готический. Конечно, фальшивая готика – николаевская эпоха, Штакеншнейдер.

– Да, как «готика» оно фальшиво, но как установившийся фальшивый стиль он очень «настоящ».

– Совершенно верно, и тем более дорог нам, что он последний у нас стиль; уж после этого ничего не было.

– А прибавьте к этому воспоминания...

– А прибавьте воспоминания! Ведь я вырос в этом. По-

нимаете, все, все готика – последняя скамейка в парке; каждое кресло в доме – маленький Миланский собор. И все насыщено воспоминаниями, не моими личными – это само собой, – а воспоминаниями... я не смею сказать исторически, но...

– «Хроническими»?

– Ну да, вы понимаете. Ведь хроника такого дома, как бенкендорфский, есть нечто большее в смысле близости к истории, чем семейная хроника какой-нибудь дворянской семьи, жившей «у Харитонья в переулке». Тут вся царская семья того времени, короли и королевы, конгрессы, коалиции, свидания. Все либо прошло, либо оставило свой дух. Начиная с очаровательного портрета Марии Феодоровны...

– А почему эта близость с императорской семьей?

– Да ведь мать Бенкендорфа была подруга Марии Феодоровны – Анна Шиллинг фон Канштадт, которую она привезла из Момбелиара.

– Знаменитая Тилли?

– Ну да, которую Екатерина Великая приказала водворить на прежнее место жительства, а Мария Феодоровна выдала за Христофора Бенкендорфа и тем вернула в Петербург.

– Так, так. Этот Христофор, отец знаменитого, был знаменит своей рассеянностью.

– Он самый. Однажды в Риге, где он губернаторствовал, Павел I сказал ему, что он у него будет обедать: Бенкендорф совершенно забыл; в последнюю минуту вспомнил. Готовить

целый обед было немислимо; он послал по всем знакомым просить каждого прислать по блюду. Приносят блюда, поднимают крышки – под каждой крышкой жареный гусь. Дело было осенью, и для царственного гостя каждый постарался приготовить то, что по сезону было самое лакомое. Когда моя бабушка кончила свой об этом рассказ, я не преминул, как и все дети, спросить: «Ну и что?» Но что было после, бабушка не сказала.

– Как досадно, когда обрывается. Сколько в детстве таких бальзаминовских снов, которые «хочется доглядеть».

– Ну уж это когда уснем навсегда, тогда, может быть, доглядим.

– Так что же вы говорили про портрет Марии Феодоровны?

– Да. Так в Фалльской башне висит прелестный пастель, к сожалению, без подписи, портрет, писанный в Версале, когда они ездили в гости к Людовику XVI. Тилли их сопровождала, у нее как-то сделалась сильная головная боль; королева прислала ей чашку шоколаду и просила сохранить на память. Чашка Марии Антуанетты в Фалле: прелестная сеvрская чашка, по темно-зеленому фону желтое плетение с цветами.

– Интересный архив?

– Так себе, и не обширный. Он весь вмещается в небольшом бюро, в той же башне. Бюро с вензелем Марии Феодоровны – подарок императрицы. Исторического почти ниче-

го. Пять писем Николая I, адресованных в Фалль. Совершенно частного характера, но прелестные по дружественности тона. Начинаются – «Cher ami», кончаются – «Кланяюсь в ножки Вашим дамам». В одном из них он извещает, что умер «этот славный Сукин». Это тот Сукин, который был комендантом, когда декабристы сидели в крепости.

– Это не тот, к которому раз в Зимнем дворце, в какой-то царский праздник, пока он у одного из окон, выходящих на набережную, ждал, чтобы началось многолетие, подошел какой-то шутник и спросил: «Как это вы делаете, что всегда у вас пальба с крепости попадает на самое многолетие?» – «Как делаю? Очень просто», – и, вынув платок из кармана, махнул в окно. Грянула пальба, чуть не во время Херувимской... Ну а «Кланяюсь в ножки Вашим дамам» – это, конечно, значит – графиня Бенкендорф и дочери?

– Очевидно. Вы знаете, что старшая дочь, Анна, впоследствии графиня Аппони, была первой публичной исполнительницей нашего гимна? На одном патриотическом концерте в Дворянском собрании «Боже, царя храни» было исполнено в первый раз. Исполнял хор, но начинал запевало; вот она была запевалой. У нее был изумительный голос, она была прекрасная музыкантша, чудного роста и сложения и ослепительной красоты, несмотря на то, что косила. Я ее видел в последний раз в Венгрии, в имении ее сына, за два года до кончины. Ей было 85 лет, она потеряла зрение, но была удивительно свежа умом и детски свежа духом. Она любила

мои приезды, потому что с кем же из окружающих могла она «вспомнить» Петербург? И какой непохожий то был Петербург! «Ну а скажи мне, выходы в Зимнем дворце все бывают?» – «Бывают, тетушка, раза три в год». – «Как – три раза? Да в мое время пятнадцать раз в год. А в Страстную пятницу дамы в черных тренях. И, приложившись к плащанице, надо было обернуться и сделать низкий реверанс государю и императрице и другой – великим княгиням». Не только другой Петербург, другая Россия раскрывалась из ее рассказов или, вернее, вовсе никакая не раскрывалась: вся Россия была для них Зимний дворец, Петергоф и Фалль; иногда бабушкино харьковское имение – «ce cher Vodolague». Какая-то смесь вольного воздуха высоких вершин и узкой, но далеко не сухой семейно-придворной замкнутости.

– В то время семьи жили гораздо больше «в своем соку», если можно так выразиться.

– И эта семья особливо. Как они писали много и подробно. При отсутствии правильной почты писали каждый день в ожидании «оказии», и это были настоящие дневники. Сохранилось несколько любопытных писем, относящихся ко времени помолвки старшей дочери с Аппони, – переписка русских родителей с венгерскими.

– Он был австро-венгерский посол в Париже?

– Отец? Да, а сын, муж моей тетушки, впоследствии был представителем своего двора в Турине, Мадриде и Лондоне.

– Так что же переписка по поводу помолвки?..

– Ничего особенного, но забавен этот обмен заочных нежностей двух незнакомых семей на двух концах Европы и с двух вершин. Венчание происходило в Зимнем дворце. Великий князь Михаил Николаевич был мальчик с образом. После венчания, в ротонде Зимнего дворца, государь приказал своему младшему сыну поцеловать молодую. «Не хочу», – сказал мальчик. Государь поднял его, поставил на стол и сказал: «Поцелуй». Слепая старушка поручила мне рассказать это великому князю – единственному ее живому современнику в царской семье, – если мне представится случай. Случай представился в 1900 году, и я, в свою очередь, получил приказание передать ей поклон его высочества. Но я не писал, хотел исполнить устно – не пришлось...

– Как легко сменяются поколения... Уста сказавшие, уста умолкшие – и нет уже никого... Правда, они были очень музыкальны в этой семье?

– Старшая пела, вторая, моя бабушка, была ученица Гензельта, и ей посвящен его романс в си-бемоль миноре; у меня собственноручно им писанный экземпляр – белая атласная тетрабочка. В Фалле много музицировали. Знаменитая певица Зонтаг, графиня Росси, провела там лето; до сих пор стоит фортепиано, на котором она себе аккомпанировала; в парке есть скамейка, носящая ее имя, – ее любимое место.

– Ну а потом, Львов же был адъютантом Бенкендорфа?

– Он часами играл, стоя у дверей «колонной комнаты», один, без аккомпанемента, на своем «Маджини». Бабушка

говорила, что это был оркестр.

– Еще бы. Ведь про него Мендельсон сказал, когда он играл в Лейпциге, в Gewandhaus'e: «Если в России все так играют, то не им сюда, а нам туда учиться ездить». Он был и прекрасный инженер при этом.

– Да, в Фалле есть «Львовский мост» – прелестное сооружение, весь на воздухе и только концами упирается в берега; он весь легкой дугой, а под дугой прямой прут, который как бы стягивает концы. Николай I сказал: «Львов перекинул свой смычок через реку».

– Чем-то беззаботным веет от этой эпохи, и нельзя сказать, что это оттого, что прошло: не всякое прошлое беззаботно. Но тогда это был какой-то пикник, «большой каприз», правда?

– Вот именно это впечатление производит Фалль – застывшая беззаботность.

– Там жили красиво?

– Там жили красиво и легко. Одно лето там гостила великая княгиня Мария Николаевна с герцогом Лейхтен-бергским. Это был нескончаемый праздник. Раз устроили на берегу моря чай; палатка, убранная васильками. Понесли туда дивный саксонский сервиз с коровками, два человека в корзине несли на полотенцах; вдруг полотенце оборвалось, и весь сервиз вдребезги. Несколько вещей, оставшихся дома, висят в столовой ни стене.

– Но ведь смерть не раз проходила над Фаллем?

– Много раз, но, право, перед этой красотой и крыло ее легко. Если бы вы только видели то место, где могилы, где похоронены Бенкендорфы, моя бабушка, дядя и родители. На полугоре. Сзади вас на горе большой деревянный крест, перед вами, под горой, равнина, лес, за лесом море, за морем небо...

– Кто выбрал такое чудное место?

– Моя бабушка как-то сказала, прогуливаясь со своим отцом: «Вот прекрасное место, где я хотела бы быть похороненной». – «Прекрасно... – сказал он, – это хорошая мысль». И когда он умирал, – он умер на пароходе, и при нем был лишь его племянник, Константин, отец теперешнего посла в Лондоне и его брата, гофмаршала высочайшего двора, – он сказал – это были его последние слова: «Там наверху, на горе». Только уж в Фалле слова стали ясны, когда моя бабушка объяснила.

– Почему же на пароходе?

– Он ехал из Амстердама, куда его проводила старшая дочь, того самого Амстердама, который он с таким блеском взял в 1814 году. Ведь вы знаете, что в известной серии медалей Отечественной войны на медали, изображающей взятие Амстердама, победоносный воин, замахивающийся над сраженным врагом, – портрет Бенкендорфа. Дочь посадила его, больного, на пароход, но он не доехал. Жена с высоты Фалльской башни смотрела на проходивший в Ревель корабль, но корабль вез уже покойника. Ее брат, Захаржевский, повез

тело из Ревеля в Фалль, а племянник поехал с докладом в Петербург. Камердинеру своего дяди он поручил вынуть из стола в кабинете его автобиографические записки, но камердинер, выходя из кабинета, столкнулся с только что назначенным заместителем Бенкендорфа, князем Орловым: «Отдай мне». Знаю, что великий князь Николай Михайлович в настоящую минуту деятельно разыскивает исчезнувшую рукопись... Это была первая могила в Фалле. Теперь их шесть.

– Есть церковь в Фалле?

– Отдельной нет. Она пристроена к флигелю, который и называется «Церковный дом». Есть в числе образов несколько недурных, так, третьестепенных итальянских картин. Это, когда Николай I во время путешествия по Италии посещал монастыри, ему подносили, а он отдавал Бенкендорфу «для Фалльской церкви».

– Да, да. Это то итальянское путешествие, когда он в Риме имел такое бурное объяснение с папой Григорием XVI?

– Так, так. В Ватикане сохранилось предание, что император был так взволнован, что вышел, забыв свою каску, адъютанта послал... На ступенях в церкви лежит ковер, который бабушка вышивала в Павловке, – лотосы по малиновому фону.

– Право же, вы должны записать все это.

– Да ведь это «все» очень мало.

– Да, но это малое – ваши глаза и уши.

– Вы сами знаете, как субъективны наши глаза.

– А вы сами не знаете разве, что субъективность – драгоценнейшее украшение объекта? А затем, ведь уши много объективнее глаз.

– Я так мало слышал. Старшие обменивались воспоминаниями при детях, но не с детьми, или очень редко. Моя бабушка мало рассказывала; это, по-видимому, входило в категорию того, что считалось слабостью, – «говорить о себе». Они были удивительно сильны воспитанием в те времена. Помню, бабушка говорила – раз она в гостиной в кресле голову откинула назад; отец сказал ей: «Мари, если ты устала, поднимись в свою комнату и ложись в постель». Ведь тогдашние гостиные знаете как были: диван, перед диваном стол, кресла вокруг стола, хозяйка на диване, дамы вокруг нее, а мужчины – «черной рамою» вдоль стен. Уж моя бабушка привезла в Фаль кое-какие вещи из Италии, разбила эту официальность, а то, например, что может быть менее уютно, чем кабинет Бенкендорфа? Не очень большая комната, в одно окно, огромное бюро, портреты государей, медали двенадцатого года и – бронза: бронзовый прибор, бронзовые бюсты, модели памятников, кусок дерева от гроба Александра I, вделанный в бронзу, в виде мавзолея. Здесь известная акварель Кольмана, декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами и с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по темным мундирам, и в пушечном дыму памятник Петра Великого... всюду – на потолке, как и во всем доме, на лепных украшениях,

на дверных ручках, всюду бенкендорфский герб: три розы на щите, девиз: «Постоянство». В Фалле много девизов; по всему парку разбросаны скамейки чугунные с гербами: подарки тех, кто гостил. Это было одно из детских развлечений – читать эти девизы. У нижнего пруда скамейка «За веру и отечество» – первые латинские слова, которые я узнал. Позднее уж мне стали приходить в голову такие непотребные мысли, что почему бы, например, не заменить всю эту латинскую рыцарьщину чисто русскими девизами: «Уноси ты мое горе» или «Где наша не пропадала»...

– Какой цинизм... романтический...

– А может быть, идеализм – цинический?

– А русские памятники есть?

– Семейные памятники. Памятник «Моим незабвенным родителям, Христофору и Анне Бенкендорфам», в виде готической часовни; памятник брату Константину: «Он кончил службу, кончив жизнь».

– Тогда мало говорили по-русски.

– И русскому языку-то научились в девичьей. Графиня Бенкендорф привезла из Водолаг и сохранила при царственной осанке малороссийское произношение с придыхательным «г», а моя бабушка, княгиня Мария Александровна, – последнее слово аристократизма в изящной хрупкой оболочке, прибегавшая к русскому языку, лишь когда нельзя было иначе, – говорила «в эфтом» и «с эс-тим».

– Осадки русской пыли на иноземном лоске.

– Чего-чего только не было в людях того времени! Под русской пылью иноземный лоск, а под иноземным лоском – какие души, какие характеры, какая простота взглядов и незадуманность пред большими событиями жизни наряду с почти религиозным уважением к мелочам! И в воспитании, при всей чопорности – такое отсутствие предрассудков, какого и сейчас не у всех матерей нашего круга найдешь. Говорили однажды: какой предрассудок бояться водить молодых девушек в музеи. Бабушка сказала: «Императрица Александра Феодоровна мне однажды сказала: „Ты уж очень благообразна. У меня вся юность прошла перед этим Аполлоном“. И тут же добавила подробность, которую я не могу повторить».

– Я вполне понимаю воспитательное значение мелочей. А вот это именно и коробит наших «интеллигентов»; они не понимают, не прощают, не переваривают этого рода воспитанность, воспитанность форм жизни.

– Ну да, они думают, что для таких людей в этом суть, они бессильны отделить форму от содержания.

– Совершенно верно: непонимание воспитательной силы формы.

– И как же ему разобраться сразу, экспромтом, в каком-нибудь озадачивающем его положении, когда и войти, и поклониться для него уже задача, «окончить» или «начать» письмо – уже затруднение...

– Так в Фалле жили людно?

– В Фалле жили людно, разнообразно. Можно сказать, на большой дороге, на европейской дороге. С Петербургом постоянное сообщение: курьеры, фельдъегеря, адъютанты; за полторы версты не доезжая Фалля, по Ревельской дороге, до самого недавнего времени стоял маленький домик – конечно, готический, – маленький красный домик, в котором курьеры, фельдъегеря и адъютанты переодевались, прежде чем являться к графу. Гости постоянно. Целая роща из деревьев, посаженных членами императорского дома. Чугунная беседка с бюстом Николая Павловича в память посещения Фалля, и на бронзовых досках имена всех сопровождавших.

– А из постоянных близких?

– Из постоянных близких была всегда невестка графини, жена одного из двух ее братьев, – хорошо известная всему Петербургу, почти до девяностых годов дожившая «тетушка Захаржевская», la tante Lili. Она была урожденная Тизенгаузен, в молодости поразительно хороша, сохранила до старости величественную осанку и походку статуи командора. Ее муж, генерал, умер на площадке перед Зимним дворцом во время высочайшего парада. Его положили в царской палатке, и сюда сбежались жена, княгиня Белосельская и другие родственники. Другой брат Захаржевский умер еще более трагичной смертью. Он жил старым холостяком в своем имении Харьковской губернии – богатый старик, окруженный великолепными коллекциями. При нем жил родной племянник, Николай Похвостнев, сын сестры графини Бен-

кендорф. В одно прекрасное утро его нашли в постели зарезанным. Все подозрения пали на племянника. Началось нескончаемое следствие, во время которого несчастный человек мучился в напрасных усилиях доказать отшатнувшимся родственникам, что он не виноват. Он умер под этим подозрением, и только на суде выяснилась его полная непричастность к убийству: камердинер покаялся в преступлении. А «тетушка Захаржевская», о которой говорили, позднее была гофмейстериной при великой княгине Марии Николаевне. Она любила придворную атмосферу, но сохранила большую независимость в суждениях и симпатиях; двор для нее был рамкой жизни, но не самой жизнью, она относилась к двору как к службе. Она плохо говорила по-русски, ее русский язык не выходил за пределы придворных повесток, и вот однажды ее спрашивают: «Вы поедете ко двору завтра?» – «Ну разумеется, ведь это один из тех случаев, когда приглашаются все те, кто особого пола».

– Ах, это прелестно – «особы обоего пола, ко двору приезд имеющие»...

– В последний раз ее видели в свете на выходе в Зимнем дворце 2 марта 1881 года; в сарафане и кокошнике, опираясь на палку, она «начинала пятое царствование». Другая постоянная летняя гостья была старуха Ковалинская, армянка. Кто она была урожденная, не знаю; сын ее был генерал, а дочь, Аделаида Петровна, строгая старая дева, была компаньонкой графини. «Старый Коваляк» была прекурьезный

тип. Она всегда сосала леденцы и, насосавшись, вынимала изо рта и завертывала в носовой платок. Когда она, чувствуя потребность высморкаться, вытаскивала платок, на нем висело всегда, как присосавшиеся пиявки, несколько леденцов. Страстная поклонница Виктора Гюго, она заставляла дочь читать себе вслух и с восторженными всхлипываниями повторяла вслед: «Ombre et nombre! Oh, que c'est beau! Ombre et nombre!» Все это попеременно с сосанием и чмоканьем. Она прекрасно владела французским языком, но вводила в него русское «слово ерь». Выйдя замуж почти ребенком, она говаривала: «Atreize ans j'etais mere-s»... («В тринадцать лет я была матерью-с».) Восторженная, пылкая патриотка, она во время турецкой кампании 1828 года с трепетом ждала всякого известия с войны. Томительно долго длилась осада Варны, больше двух месяцев. Наконец поздно вечером – она уже лежала в постели – ей приносят радостное известие: Варна взята. Она вскакивает, как была, в рубашке, кидается в переднюю, надевает калоши на босую ногу, накидывает первое, что попадает под руку – это была одна из тогдашних лакейских ливрей с бесчисленным количеством воротников, – и в этом наряде бросается по лестнице вниз; выбегает на улицу – жила она на Невском – и стремглав пускается по улице, размахивая руками, с криком: «Варна взята! Варна взята!!» Она любила море и ходила в Фалле каждое утро купаться. Любила море, но боялась холодной воды. И вот чтобы входить в финские волны, она надевала салоп. Во-

круг нее кольцом стояли девушки, и пока барыня боязливо и с маленькими вскрикиваниями – «ой, батюшки, ой, батюшки!» – бережно опускалась в воду, одни девушки поднимали фалды салопы, а другие из кувшинов лили в море горячую воду.

– Невероятные времена, когда подобные вещи можно было делать и когда в их действительность можно было верить.

– Есть ли на земле что-нибудь более непохожее друг на друга, чем «век нынешний и век минувший»?

– И так было во все времена.

– И так будет во все времена. Но на той непрерывной ленте времени, которая в непрерывном беге уносит все «нынешнее» в «минувшее», светится прелестью неподвижности всегда близкая, всегда юная, всегда красивая страница бенкендорфского Фалля.

*Борисоглебск,
16 октября 1911*

9. Сумасшедший

Василию Григорьевичу Есипову

*Его слова хотя немного дики,
Но не безумны.*

«Гамлет»

– Билетики ваши позвольте.

– Эти контролеры, кажется, только для того и существуют, чтоб будить людей; если не от сна будить, то отвлекать от размышлений. Все тебя возвращает в действительность. И непременно – в *его* действительность полезай. Точно *другой* действительности на свете нет. Наставление на путь истины. Все спит, можно сказать, в забытии находится, а он... Вот, смотрите, ошибаюсь ли я...

– Вам, господин, в Козлове пересадка.

– Слышали? Что я вам сказал. Точно нет на свете *другой* истины, кроме *его* истины.

– Во-первых, не обижайте контролера, это не он вам сказал, а кондуктор.

– Даже второй кондуктор, а может быть, и третий, а может быть, провожатый, а может быть, истопник. Разве я могу расчленять это составное чудовище, которое с холоду ввали-

вається – глазастое своими увеличительными фонарями – и не имеет другого назначения, как проверить, честный ли ты человек – не едешь ли даром, здоровый ли ты человек – не едешь ли в обратную сторону, грамотный ли человек – умеешь ли читать, что написано на твоём билете... Ну-с, а во-вторых?

– Что – во-вторых?

– Я не знаю, что во-вторых, ведь вы сказали: «Во-первых, не обижайте контролера». Так я спрашиваю: во-вторых?

– Я, собственно, не имел в виду...

– Ах, не имели? Так в театрах в таких случаях возвращают деньги обратно, а в разговорах...

– Простите, я и не подозревал, что вы мне что-нибудь заплатили за случайно сорвавшееся слово.

– Я не платил-с, а я вам подарил-с – внимание свое подарил, а это есть нечто; во всяком случае, нечто такое, чем злоупотреблять считается неприличным-с.

– Позвольте, позвольте, я в мыслях не имел...

– Я, милостивый государь, не на вас. А я вообще. Вы что? Случайная встреча, пассажир. Вы знаете, что значит французское слово «пассажир»? Вот то-то и есть. Словами иностранными небось тоже стреляете, а чем патрон набить, не полюбопытствуете. Жуир знаете что значит?

– Ну, знаю, – вроде кутилы.

– Ну-с, а откуда?

– Что – откуда?

– Слово-то откуда?

– От французского.

– Сперва от русского – жуировать, а там от французского – жуир; понимаете – французский глагол «жуир». Ну и «пассажир» также – от пассажировать, французский глагол «пассажир»... Что вы так смотрите? Да вы, простите, может быть, по-французски не знаете?

– Нет, я знаю... конечно, не то чтобы... но...

– Ну да ведь тонкости-то мало кому и доступны.

– Но могу сказать, что понимаю.

– А понимаете, так должны вникать, иностранные слова чтоб не холостые заряды были. Ну-с, а вот вы говорите, по-французски знаете, а что значит: «Иль эм а се десинэ деван ле дам»? Не знаете?... Не понимаете?... Ну «десинэ» что значит?

– Рисовать.

– «Се десинэ» что значит?

– «Се десинэ»?

– Ну да, переспрос не ответ. «Се десинэ»? Не знаете? Ну слышали же вы, про профиль горы, например, говорят: «Се десинэ сюр ле сиель».

– Ах да, это так.

– А что же *не* так? Все так, *вы* только не так. Ну-с, а теперь «се десинэ деван ле дам»?

– Я... право... не знаю...

– Чего же вы, например, не знаете? «Деван ле дам»? «Де-

ван ле дам» не знаете?

– Послушайте, я не понимаю...

– Я давно вижу, что вы не понимаете. Так я вам объясню. Объясню вам, так и быть, чего вы не понимаете. «Иль эм а се десинэ деван ле дам» – это значит: «Он любит рисоваться перед дамами». Понимаете? Или вы, может быть, никогда не рисовались перед дамами? Вы, может быть, никогда не любили рисоваться перед дамами?

– Да нет же, пожалуйста, я вовсе...

– Ну так зачем же вы уставились? Или вы *знаете* французский язык, тогда нечего тарашиться, или вы его не знаете, тогда поблагодарить надо, а не тарашиться.

– Я, право, ничего, только...

– Ну-с?

– Я не знаю...

– Чего?

– Вы слышали?

– Чтобы так говорили?

– А вы разве слышали, чтобы кто-нибудь по-французски правильно говорил?

– Но откуда в таком случае...

– Что, милостивый государь? Вы позволяете себе сомневаться! Вы не только сами не знаете, вы позволяете себе сомневаться в знаниях других! Если ваши *уши* не верят тому, что вам *говорят* люди образованнее вашего, то, может быть, *глаза* ваши поверят тому, что *печатают* люди обра-

зованнее вашего. Уж я больше не буду... перед вами... метать-с... Нда-с, а приглашаю вас посмотреть русско-французский словарь Макарова, на слово «рисовать»... Да вы, может быть, и по-русски-то не умеете? «На шерамышку» что значит? «За счет приятеля», понимаете? – от «шер ами». Не знали? А «облапошить» что значит? «Ударить по карманам» – «ла пош», карман... Что вы кругом озираетесь? Не видали, на что похоже отделение второго класса в два часа ночи? Под потолком узлы, на полу корзины, фонарь завешен, на крючке качается дамская шляпка, а на всех диванах, каблуками вниз, носками вверх, торчат подошвы... Не видали? Никогда не ездили?

– Нет, я так... Душно...

– Ах да, вам вентиляции захотелось. Покорно благодарю! Двенадцать человек в отделении спят, можно сказать, в испарине, а оттого что вам одному не спится, они должны все простудиться! Наняли бы себе четырехместное отделение и царствовали в нем.

– Послушайте, вы знаете, с кем вы говорите?

– Нет, не имею... как говорится, не имею удовольствия.

– Ну так я вам посоветую умерить ваш нравоучительский тон.

– Да я не на вас. Я вам уже сказал, что я вообще. Вы что? Вы пассажир. Вы знаете, что такое французское слово «пассажир»?

– Знаю, знаю, вы же мне объяснили.

– А знаете, так что же вы ерошитель? Мы все пассажиры. Для меня всякий человек на земле пассажир, ну и, конечно, всякий пассажир на земле человек. Я вообще признаю только человека, я людей не признаю. Я признаю человека и человечество. И когда я человека встречаю, я воспитываю человечество. Понимаете? Миссию понимаете?

– Трудная...

– А разве легкие бывают? Тогда они миссиями не называются. Они называются поручениями, даже особыми поручениями. Миссия – это когда человек себя по кусочкам раздаст; понимаете, это насыщение, только не хлебами, а самим собой. Его не хотят, его не берут, а он все-таки отдает да отдает. Только тут маленькая тонкость: люди не берут, а человек возьмет. Вот отчего я человека люблю, а людей не люблю. «Ах, люди-люди, люди злые, зачем сгубили»...

– Что же остановились?

– Зачем сгубили вы себя!

– Себя?

– Не нравится «себя»? «Других» лучше? Ах вы! Альтруист!

– Да ведь в песне – «молодца».

– А люди не молодцы? Еще какие молодцы. Человек хочет закрепиться... Вы что, деревенский будете или городской?

– Городской.

– Ну так что значит «закрепиться», конечно, не знаете?

– Не знаю.

– Это кто из общинного владения на личную собственность переходит. Это значит, что его земля уже никогда в де-леж не поступит, а перейдет его личным наследникам. Ну-с, так понимаете? Человек хочет закрепиться, а люди не хотят: им не на руку. И вот идет Молва. А Молва, вы заметили, всегда людям помогает – Молва человека не любит. Вот и идет Молва. «Идет-гудет зловещий шум». Все, что на этой земле родится, мол, не твое будет. Ты сеешь, убираешь, а хлеб в казну пойдет; твоя курица яйцо снесет, а цыпленок казенный. Корову к казенному бычку на случку поведешь, ан телок-то казенный. Вот, понимаете, с бычком-то какая выходит «решерш де ля патернитэ», «установление отцовства», только наоборот – «а ребур», как говорят в кадрилиях. Да-с, сумасшедший того не выдумает, что Молва выдумать может, потому сумасшедший – это человек, а Молва – это с ума сошедшие люди, то единица, а то собирательная единица. Ведь вот люди: лопатой по ветру пустить – пыль одна, а в куче лежат – законодательствуют! Зато когда людям от человека достается, лучшего нет для меня удовольствия. Тоже из землеустроительной практики...

– А вы член землеустроительной комиссии?

– А зачем вам это знать? Сказано, пассажир, чего еще? Из землеустроительной практики. Целое село у нас одно порешило закрепиться. Ну, комиссия, инспектор, планы, столбы... Только приступать к межеванию, откуда ни возьмись, кавказец какой-то: «Я, говорит, вашего села, такой-то, ушел,

а отец был собственник, и давность не прошла, пожалуйста и меня в дележ включить». Конечно, гвалт: тебя не знаем, жили без тебя. Он, недолго думая, – на сто рублей водки. Ему землю отрезали, он тут же ее за тысячу рублей продал и уехал обратно на Кавказ, «на тот погибельный». Вот за что я человека люблю, а людей не люблю. Лучше нет, как когда человек сжав губы стоит, а люди – разиня рот; люди – растопырив руки, а человек – скрестивши на груди. Вы что же молчите?

– Я вас слушаю.

– Надоело тоже противоречить? И правы. Не человеческое это дело – противоречить, это дело людское, а не человеческое. Человек людям «да», а люди ему «нет». Человек! Ведь человек все. Вы искусство любите?

– Люблю.

– Ну а что такое искусство? Толстой писал, писал, так и не написал. Что такое искусство? Человек. А что такое публика?.. Что такое публика, я вас спрашиваю?

– Публика?

– Ну да, публика, переспрос не ответ. Что такое публика?

– Люди...

– Вы как будто сомневаетесь. Положим, усумниться позволительно. Ну-с, а наука что такое?

– Человек?

– А то, может быть, люди? Галилея-то кто осудил? А Колумба в темницу кто посадил? А Пушкина кто убил? «Ах

люди-люди, люди злые»... А стадо что такое?

– Домашний скот.

– А пастух что такое?

– Человек.

– Ну вот. И запомните.

– Билетики ваши позвольте.

– Опять!

– А этот что, по-вашему?

– То есть?

– Человек или...

– Вам в Козлове, господин, пересадка, подъезжаем.

– Что он такое, не знаю, а только произошел он, конечно, от людей, не от человека. Все чиновники произошли от людей. Что смотрите? Вы не знали, что все чиновники произошли от людей? А вы что же думали? От людей, могу вас уверить. Они от людей произошли, и потому не имеют генеалогии. То есть, может быть, и имеют, а только проследить нельзя, потому что во множестве нить теряется... Вот вы опять тарашиться начинаете. А это проще простого. В Лондоне однажды преступника искали – оказался китаец. Стали следить, по улице за ним пошли; он в дом – за ним, он в квартиру – за ним. Входят в комнату, вся комната битком набита китайцами: который же? Все похожи. Нить-то и пропала. Так и с чиновником. Если захотите происхождение проследить... Что вы опять пошли тарашиться?

– Я ничего... спать хочется...

– Если бы спать, то у вас бы глаза не таращились, а слипались... Так если захотите происхождение проследить, надо сперва... Виноват, мои калоши, кажется, под вашей скамейкой... Простите, благодарю вас... Надо сперва из людей его выделить... Фу ты черт, тормоз-то – тоже люди выдумали... и ведь всегда, когда стоишь на ногах да еще руки вещами заняты... Из людей сперва выделить, в человека превратить... Вот тебе на, билета не могу найти...

– У вас не отобрали?

– Кто же отобрали?

– Человек, тот, что проходил.

– Так тогда не «отобрали», а «отобрал»; а «отобрали» – значит, люди... Носильщик!.. Ни в одном слове, милостивый государь, такой разницы нет между единственным и множественным... Два места, два места и узелок... И в одном только значении единственное и множественное совпадают, да с, – позорнейшее применение-с священнейшего слова... Что смотрите? Небось в ресторане обед заказываете, – кого зовете карточку подать? А у дворецкого какой-нибудь барыни спросите, – как в деревню ездите? Сами, скажет, в первом классе, а в третьем... Кто же в третьем-то? «Сами» – то что же, не люди, что ли? «Да на чреде высокой не забудешь святейшего из званий – Человек»! Шампанского!.. Позорно, милостивый государь, позорно-с... Вот билет, нашелся. Да не могли его у меня отобрать, – ведь я дальше еду. Не могли: ничего люди против меня не могут... потому что я не чело-

век... но и не лакей-с... Приятного путешествия.

– Носильщик!

– Что прикажете?

– Этого господина знаешь как зовут?

– Обносков-с.

– Большой?

– Нет, зачем.

– Ближний?

– Не могу знать, на Тамбов ездют.

– Хороший человек!

– *Людей* не обижает... Простите, барин, – дожидаются.

Павловка,

15 октября 1911

10. Вокруг света

Княгине Софье Николаевне Барятинской

*И прошлые века стоят, как привиденья,
Как цепь высоких гор, как ряд недвижных волн.*

С. Маковский

– А, как я рад! Давно в Москве?

– Сегодня утром.

– И я сегодня утром, из деревни.

– Я из Петербурга... Стремление в Москву...

– Сердце России...

– А «Эрмитаж» – сердце сердца.

– «Le soeur de ton soeur». Вы заказали?

– Заказал.

– Что?.. Впрочем, все равно. Мне то же самое... Ну-с, я очень рад встрече. У меня такое чувство, что я опять на фарватер попал.

– А вы блуждали?

– Когда же мы не блуждаем? Когда одни. А с людьми – по пальцам пересчитать тех, с кем не блуждаем.

– Какие же у вас в деревне «люди», да еще в октябре месяце?

– Я в уезде был. Земское собрание.

– Хорошо сошло?

– Очаровательно... Что вы так смотрите?

– Вы говорите, как про спектакль.

– А чем же не зрелище? Проходит жизнь – люди, животные, дети, родители, больные, врачующие, учащие, учащиеся, прошения, проекты, предписания, ссуды, ассигновки...

– Не думаю, чтобы ко всему этому приложимо было слово «очаровательно».

– Так вы же меня спросили, как прошло собрание? Когда спрашивают, как прошел спектакль, это без отношения к содержанию пьесы.

– Ах, так вы об исполнении?

– Вот именно, об исполнении и об исполнителях.

– Так хорошо?

– Прямо очаровательно.

– Утешительно.

– И очень. Вы знаете, ни в одном деле не чувствовалось «подкладки», ни в одном обсуждении не чувствовалось «личности».

– Это не похоже...

– На что?

– Да... на прежнее, что ли... или на наши представления...

– Представления?

– О провинции, о «земском пироге»...

– Какие там ваши представления, не знаю, а что на прежнее не похоже, это точно. Я помню, что это было двадцать лет тому назад, когда собирались наши уездные тузы.

– А теперь?

– Теперь и тузов нет.

– Козыряют?

– И не козыряют.

– Нечем козырнуть?

– Не перед кем, никого не удивишь, ни с кого ничего не возьмешь. Все равны, что один, что другой.

– Другие времена?

– Другое поколение. Другая Россия.

– Революционная?

– Ничего подобного.

– Правая?

– Правдивая. Разве непременно надо смотреть справа или слева? Нельзя посмотреть сверху или изнутри?

– Из существа?

– Вот именно... Ах, как не похоже на то, что было!

– Да ведь не лучше же?

– Определяйте как хотите, а проще, легче, человечнее. Прошли те времена, когда сознание своей сословности, своего дворянства предшествовало сознанию человечности.

– Просто люди?..

– Люди как люди.

– Красный околушек все же попадается?

– Не увидите больше. Красного околушка с борзой собакой, с арапником в руке и номером «Московских ведомостей» в кармане – не увидите.

– Так что «основы потрясены»?

– Ничего не потрясено, а просто увидали, что не на том стоим; и потом, надоело же когда-нибудь людям пыжиться.

– А то пыжились? «Прямые канцлеры в отставке»?

– Даже не в отставке.

– Несменяемые?

– А то? Красный околушек разве потеряешь? С чем родился, с тем и умрешь.

– Ну а борзятничество все же есть?

– Есть и всегда будет. Но уже псовая охота не ту окраску имеет.

– Просто забава!

– Ну да. А ведь прежде, когда он выезжал, – ведь он осуществлял один из пунктов Жалованной грамоты. Как рыцарь в крестовый поход, так он в отъезжее поле.

– «Конен, люден и оружен».

– Pro fide et patria.

– А женщины?

– Женщины всегда были человечнее мужчин. Разве вы когда-нибудь в женщине замечали, что проступает, лезет вперед сословное самосознание?

– Это-то нет, но была прежде некоторая дворянская белоручность.

– Ну да, так это не сословность, а это те, кто побывали «выньстуте»; и то – только до замужества. Сколько я видал таких несчастных существ, которые выкидываются из столицы или губернии в уезд, из рекреационного зала в семью, из класса в жизнь. Без всякого интереса, без всякой приспособленности, без потребности в жизни, без умения жить. Никчемущие существа, которые ничего не умеют, как только скламши ручки скучать. И подумайте, с такими данными быть женой, хозяйкой, матерью... Но и этого больше нет.

– Другое воспитание?

– Тоже не знаю. Что вы все о причинах спрашиваете? Это была такая принцесса Ганноверская Софья-Шарлотта, тетка Фридриха Великого, синий чулок, которая изводила философов своими вопросами; Лейбниц говорил: «Она хочет знать причину причин».

– Ну так без причин: что же теперь?

– Интересы, хозяйство, воспитание, агрономия. Уж этого нет, что кто не вышла замуж – лишнее существо.

– Послушайте, это лучше, чем в столицах.

– А то разве можно сравнивать? Чем дальше от сложившихся условий, тем больше жизни. Я помню, присутствовал, как встретились в Риме, в гостиной, одна русская дама, бывшая на войне сестрой милосердия, с итальянским офицером, который был послан от своего правительства на поля Маньчжурии... Да вы знаете – Камперо...

– Который книгу написал?

– И книгу написал, и лекции читал в Италии о роли русской женщины в Красном Кресте; я был на его лекции в Риме. Я никогда ничего более восторженного и более смелого не слышал. Перед представителями русофобской печати так прославить русскую женщину и в присутствии обеих королев так пристыдить итальянскую женщину... Он себе нажил массу врагов.

– Так вы говорите, видели, как встретились этот итальянский офицер...

– С бывшей сестрой милосердия. Это был такой взрыв радости, обмен воспоминаний, воспоминаний героических – героических для нас, а для них повседневных, – о событиях до такой степени вне всяких условий обыденности, в которых сливалась такая сумма ощущений, чувств, деяний для нас с вами неповторимых, недостижимых, что положительно казалось – только там жизнь, а здесь ничего, слякоть одна.

– Так что, чем меньше условий установленных, незабываемых, повторяющихся...

– Тем больше жизни.

– Чем шире рамка...

– Тем больше места для содержания.

– А без рамок можно ли?

– А в рамках возможно ли?

– Вот и дилемма.

– Вечное колебание в полярности.

– И вечное стремление к тому, чего нет.

– Когда рамка есть, стремление разбить ее...

– А когда ее нет, стремление создать ее.

– Уж это... Посмотрите только на американцев...

– А что?

– Да как же. Сословий не имеют – выдумали себе дворянство: кто приехал на первом корабле из Англии – знаменитый «May Flower». Но если бы действительно все на нем разместились, кто претендует, корабль бы ко дну пошел, не только не дошел бы, а и не вышел бы. В Нью-Йорке создали себе аристократию.

– Знаменитые «400»?

– У одной чикагской барыни я спросил: «Вот в Нью-Йорке четыреста, а сколько в Чикаго?» Она подумала минутку и сказала: «Я думаю, что нас восемьдесят». Тогда я подумал, что, идя все дальше на запад, я, наверно, приду в глухое местечко, где встречу девочку, которая на мой вопрос: «Сколько вас?» – ответит, как в известном стихотворении: «Нас семеро».

– Но вы ей этого не сказали?

– Нет, но я это говорил в публичных лекциях, и надо отдать им справедливость, они отлично принимают шутку. Они ничего так не любят, как чтобы ими занимались. И, если позолочена, всякую пилюлю принимают.

– Но какой ужас американизм.

– Оскорбителен.

– И как распространяется.

– Диккенс сказал: «Миссия Америки в том, чтобы опошлить вселенную».

– И Америка свою миссию исполняет.

– Да, Европа превращается в гостиницу для американцев.

– У нас не знают этой стороны американизма.

– Изучить не на чем. Одно только и знают – «страна свободы». А как задыхаются те, кто туда попадает. Там не умеют жить; за вечной охотой на деньги они не видят жизни. Мне всегда казалось, что какой-нибудь лабазник у нас в уездном городе, сидя на завалинке после трудового дня, смотря, как в пыльном облаке, позлащенном вечерней зарей, возвращаются с водопоя коровы, больше наслаждается, чем господин Пульман, купаясь в своих миллионах.

– Никакой мягкости, никакой уютности.

– Не в характере. Даже когда желание есть, не умеют. Однажды в Чикаго в одном доме меня просили после обеда сесть за фортепиано. Сыграл что-то, не помню что. «Пожалуйста, сыграйте русский гимн». Только раздались первые аккорды «Боже, царя храни», вижу, хозяин, лукаво подмигнув, подходит к камину, снимает какой-то предмет и несет ко мне: «Вот, чтобы вам чувствовать себя совсем как дома». И передо мной на пюпитре образ Божьей Матери – от Овчинникова.

– Никакой перспективы – ни исторической, ни психологической.

– Все плоско, все близко, до всего можно дотронуться

пальцем.

– Как не похоже на русский характер!

– Никогда не забуду впечатления. Раз в Нью-Йорке мне передали приглашение на вечер в незнакомый дом – хозяйка русская и жаждет видеть русского. Прихожу – встречает меня статная старуха. Оказывается – внучка последней грузинской царицы, замужем за доктором. Она увлекла меня в угол... Лились воспоминания и излияния – я никогда от незнакомого человека не слышал столько поведенного близкого, частного, личного. Я затруднился бы что-нибудь вспомнить; я знал, что это мне говорилось не для того, чтобы я запомнил: есть речи, в которых важно устье, в других важен исток. Я слушал, не слыша; я помню только «Кавказ... царица... институт»; я помню беспокойный веер, помню на черном платье, вместо брошки, бриллиантовое «А» – фрейлинский вензель императрицы Александры Феодоровны, и я помню никогда так ясно не испытанное ощущение клетки... Как крыло, бился черный веер...

– Кавказские горы в нью-йоркской тесной квартирке...

– А то помню, в еврейской школе рабочего квартала в Чикаго – маленькие девочки, только что приехавшие из России. Я с ними заговорил по-английски – еще не умели, заговорил по-русски – слезы помешали...

– Забудут?

– Надо надеяться... И со всем тем, хотя после Америки я видел такие сказки человечества, как Индия, Цейлон, Ка-

ир, – когда я вернулся домой, ярче всего передо мною стояли американские воспоминания: свистки, колеса, грохот, гудение – и спешка, вечная спешка, отсутствие праздности, отсутствие отдыха, движение вперед, безжалостное отсутствие оглядки. Вам случалось когда-нибудь в детстве попадать на фабрику с колесным гудением – молоты, поршни, ремни, огнедышащие жерла, – и вдруг вы потеряли старших?.. Вот такое первое впечатление. Потом свыкаешься. Вокруг вас бегут, и вы бежите: поневоле побежишь, если отстать не хочешь.

– Так что сказки поблекли?..

– Поблекли перед рекламными афишами. Сказка – прошлое, реклама – будущее. Америка – окно в будущее.

– И неприятно смотреть в это окно?

– Художник содрогнется, философ покачает головой.

– А историк?

– Историк все возьмет.

– Не брезглив?

– Так же мало брезглив, как индус из касты чистильщиков.

– Не понимаю.

– В Индии люди, исповедующие религию Браммы, на касты разделяются, вы знаете?

– Знаю.

– Ну вот, самая низшая каста – чистильщики.

– Так не брезгливы?

– Ведь и брезгливость понятие относительное. Вы допьете

стакан, из которого хлебнул другой?

– Зависит, кто.

– Ну вот видите, а у индусов нет большего унижения: там перед харчевнями груды черепков лежат – разбитые глиняные чашечки: каждый, выпив, разбивает, чтобы другому не досталось.

– Как мы с зубочистками делаем.

– Ну вот, такая же психология, только там это связано с религией... Так я забыл про это и однажды на прогулке любопытствовал хлебнуть какого-то туземного напитка; не понравилось мне, и я в невинности предложил допить своему проводнику. Надо было видеть, с каким негодованием все присутствующие отшатнулись. Вдруг кто-то из них, видя мое замешательство как человека, ищущего, куда освободиться от предмета, крикнул: «Вот, ему отдайте». Проходил чистильщик. Я протянул ему чарку, он взял и стал пить. Надо было видеть презрение, с которым окружающие, молча, как за зрелищем, следили за его движением. Он выпил. Бросил и он свою чарку оземь, вероятно, чтобы после него собака не выпила. Обтерся, поклонился. Кто-то, махнув рукой, сказал: «Выпил». Окружающие вышли из оцепенелого внимания. Чистильщик пошел своей дорогой... Но я никогда не слышал в устах человека большего презрения к человеку, чем этот возглас «выпил».

– Собака, едящая падаль?

– Хуже.

– Одну сказку расскажите, только одну.

– Одну сказку? Это было на Цейлоне. Японские буддисты привезли в дар цейлонским древнюю статую Будды. Я с ними ехал из Сингапура на одном пароходе; и вместе же ехал, возвращаясь из Чикаго, где он был представителем Цейлона на конгрессе религий и где я с ним познакомился, буддийский проповедник, некий Дгармапала. Он меня пригласил на другой день по приезде в Коломбо, главный город Цейлона, принять участие в празднествах встречи и перенесения статуи в храм. Другой такой картины я не помню наяву, как на следующий день, когда часам к шести вечера собрались у пристани и понесли эту статую между шпалер туземных женщин и мужчин. Проходили под пальмами, сыпались цветы, одежды колыхались, развевались бледные радуги кисейных покрывал. Лентой вилась смуглая толпа, и, как огромные цветы нераспустившихся пионов, стояли пестрые чалмы над мягкой прихотью женских уборов. Так шли, и за толпой меж пальм сияло море... Пришли к воротам, за которыми лужайка, и на ней раскинутые павильоны – храмы на белых колоннах, без стен. Перед средним храмом, в желтых хламидах через плечо, – все жрецы с верховным жрецом впереди: прямо хор из оперы. Меня представляют, я кланяюсь, верховный жрец смотрит в сторону; я кланяюсь вторично – он смотрит в другую; я кланяюсь в третий раз – меня не замечают. Один из спутников наклоняется над моим ухом и говорит: «Не удивляйтесь, это закон: служитель Бога всем людям

брат; поклониться каждому человеку на земле он не может, а одному – несправедливо». Пока шли приготовления к молитвенному собранию, вошли в помещение верховного жреца. Со мной беседовали через переводчика. Обрадовались, узнав, что в университете я был учеником профессора Минаева, – с ним были лично знакомы, его знания и труды по санскритскому языку ценили высоко... Пошли в храм. Начались речи, приветствия и ответы. Я сидел на эстраде среди почетных гостей, верховный жрец сидел тут же. Я ничего не понимал из того, что говорилось на бенгальском и японском языках, и смотрел на удивительную картину сидящих на полу, закутанных в кисею женщин, на стоящих у колонн мужчин, на висящие лампы, на звездную ночь в промежутках между колонн и на высокие пальмы в ночи... Вдруг над моим ухом по-английски шепот: от имени верховного жреца меня просят сказать слово.

– Сказали?

– Сказал. Сказал то, чем приветствовал конгресс религий в Чикаго. Знаете историю старухи и лукавки?

– Нет, не знаю.

– Из «Братьев Карамазовых». Была одна старуха, великая грешница – мучилась в аду. Однажды увидела, высоко в лазури небесной пролетает ангел. Возопила. Ангел остановил полет, приник. «Будешь пред лицом Всевышнего, скажи, что есть такая старуха, которая испытала больше, чем вытерпеть можно. Не будет ли милость Господня облегчить ее страда-

ния». Полетел ангел, доложил. «Узнай, – сказал Господь, – есть ли за ней хоть одно доброе дело на земле». Вернулся к старухе. «Да, – говорит, – раз я нищему луковку подала». Опять доложил ангел. «Возьми луковку, – сказал Господь, – протяни ей, пусть ухватится, а ты тащи: выдержит луковка – спасена будет». Ангел так и сделал. Старуха ухватилась, ангел стал тащить – старуха стала из огня подыматься. Только вдруг замечает: за ноги к ней другой грешник прицепился; однако луковка выдерживает. Ангел тянет, они выше; смотрит – еще грешник, а там еще и еще: целая цепь висит, за ноги ее держатся. Страшно сделалось старухе, начала она брыкаться – не отстают, а все больше их. Тогда со всей силы крикнула: «Отстаньте, луковка-то ведь моя!» Только сказала – стебелек сломился, и все обратно в огонь вечный полетели. Из этой истории вывести маленькое нравоучение, что все хорошее на земле принадлежит всем, что хорошее есть везде и у всех и т. д., – это уже было нетрудно.

– Ну да, что Гёте пишет Карлайлю: «Истинно прекрасное принадлежит всему человечеству». Кончайте скорей ваш рассказ – оркестр настраивает скрипки, и сейчас нельзя будет слушать.

– Кончаю. Пока я говорил по-английски, туземец переводил на бенгальский. Я, следовательно, кусочек говорил, выжидал перевода и продолжал. Очень было занимательно при этом наблюдать, как во время моей английской речи смеялись те немногие, что понимали, как их смех подстрекал

внимание тех, что не понимали, и как после перевода разразилась смехом вторая, многочисленная группа, да и первые уж заодно еще раз. Но когда я кончил, когда умолкли знаки одобрения, произошло нечто невероятное: верховный жрец встал, подошел ко мне и при всем народе протянул мне руку. Над ухом англичанин прошептал: «Никогда не видел, чтобы он такую вещь сделал». Вот вам моя сказка.

– Как раз вовремя кончили: со своим ползучим, змеиным подходом подкралась и грянула «Матчишь». Какое другое существо на земле, кроме человека, способно выдержать такие перемены температуры: буддийский Цейлон и «Матчишь»?

– А какое другое существо на земле, кроме человека, способно во время завтрака совершить кругосветное путешествие?.. Вы знаете, что в пустыне, в Африке, арабские мальчишки, погонщики ослов, напевают «Матчишь».

– Уж там авторское право не догонит. А где вы видели пустыню?

– В Египте, в Тунисе.

– Тоже сказка?

– Колыбельная, верблюды – колыбель.

– А похоже – Каир и Тунис?

– Совсем другое. Каир железно-красный, Тунис белый.

– А толпа?

– В Каире – синяя.

– А в белом Тунисе?

– Что хотите. Идет перед белой ослепительной стеной арап, черный, черней черного, в светло-зеленом бурнусе, большой вырез на черной груди перерезан белой рубашкой; вдруг запускает свои обе черные лапы за пазуху и из-за пазухи зеленого бурнуса в черных лапах вытаскивает два апельсина.

– Вижу... А что, большое удовлетворение в путешествии?

– Удовлетворение? Разве на земле бывает удовлетворение? Чем больше видишь, тем больше хочется видеть, и чем больше нравится то, что видишь, тем больше хочется видеть то, чего не видишь. На Цейлоне растет «тюльпановое дерево» – огромный ствол у земли как будто несколько раз закручивается вокруг себя, сам себе делает пьедестал и потом, как гладкая серая колонна, подымается вверх под развесистую шапку; на ней висят и с нее падают огромной величины красные цветы – цветочные бокалы, воланы из пурпуровых лепестков: прямо «Парсифаль». И что же? Под этим куполом, у подножия растительной колонны, на земле, усеянной тюльпанами, среди невероятной красоты этой непонятной природы вставала в душе и тянула к себе убогая прелесть убогого взморья: под уходящую волной лоснящийся песок.

И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца.

– Понимаю... Не только «на севере диком» сосны грезят

О пальмах...

– Но и пальмы грезят о морозной пыли и о небесных за-
ревах, лежащих на сталактиты обындевелых сосен...

– А что, пустыню можно себе представить иначе чем араб-
скою? Я не могу.

– И я не могу. Но когда-нибудь и она была другою, как и
все на земле. Между Тунисом и Сфаксом есть посреди пу-
стыни римский цирк, гигантский.

– И ничего кругом?

– Кактусы; пустыня, колизей и кактусы.

– И нет жилья?

– Есть арабские сакли – приютились в теневой стороне;
но что же эти гнезда человеческие под этакой громадой? Это
мне напомнило, хотя совсем не похоже, город Спалато на
Далматинском берегу Адриатического моря. Дворец импе-
ратора Диоклециана, полуразрушенный, в остове этого двор-
ца поместился город. Лестница царского жилища – улица,
двери – городские ворота.

– И современные люди, как поселившиеся паразиты?

– Микробы в щелях римского скелета. Знаете, есть такая
особая вошь, она нигде не водится – только на шишке, кото-
рая вырастает на лбу у кита на его сто первом году от рож-
дения. Огромный старый кит, этот колизей среди пустыни –
старый, древний, хмурый, гордый среди корявых кактусов,
непреклонный в неслиянности римского величия с беднотой
арабского кочевья.

– Вижу... Вижу белое колыхание мягких бурнусов на римской недвижимости каменных лилий.

– Но *самая* сказка – это Джейпур, главный город Раджпутаны, по дороге из Калькутты в Бомбей. Розовый городок, резиденция магараджи; весь городок – одна «царская потеха», балет на открытом воздухе. Я «посреди сцены», на площади у фонтана, остановил извозчика, смотрел, смотрел – уходить не хотелось. Проваживают царских лошадей – уздечки, чепраки... Проваживают царских пантер – это как соколиная охота, чтобы ловить других зверей... Катают царских танцовщиц – смуглые лани, в кисее, с кольцами в ушах, с серебряной бородавкой на ноздре...

– Красивые?

– Самые красивые в Дели...

– А толпа?

– Апогей кавказской расы, всех цветов загара; и всё кисея, бледные цвета: под жгучим солнцем, умирающие радуги...

– Посмотрите, что делается на улице, а я забыл калоши дома...

– И все же идти надо...

– Когда же?

– А вы не будете завтра на вечере античной психо-мимомело-пластики?

– Буду, конечно.

– Ну вот, там встретимся.

– У вас где место?

– Нет еще места. Да сядем рядом – не прогонят, места будут. Ну-с, я иду. Терпеть не могу, когда народ начинает собираться.

– И какой народ! Вы заметили, теперь в Москве какие странные появились типы? Не то русские, похожие на американцев, не то американцы, похожие на русских.

– Полуавиаторы какие-то... Я бегу. Заплатите?

– Не беспокойтесь... Пойдите, пойдите... Сегодня, поздно, часов около двух, я пойду в ваш трактирчик.

– В «Прогресс»?

– Вы не пойдете?

– Ну кто же против прогресса пойдет!

Москва,

18 октября 1911

11. За рубежами

Алексею Александровичу Подгаецкому

*Над бескрайними снегами
Возлетим!
За туманными морями
Догорим!*

А. Блок

- Хорош этот пьяный гул в третьем часу ночи в третьеразрядном трактирчике...
- Разогревшаяся, разопREVшая, разгоревшаяся и расходившаяся Москва.
- Не так уж расходившаяся. Мокнут, млеют; вспыхивают и вянут.
- Жар стоит. Густо в воздухе от желаний, излиятий...
- Пресыщено рассказами, воспоминаниями...
- Пустые бутылки... распашка сердец...
- Последние предпьянственные проблески...
- Ослабленные струны...
- Не в силах дрожать...
- Усталый, страстный гул...
- Грунтовая краска...
- Звуковой фон, и из него отдельные выкрики...

– «Горячим словом убежденья» борьба против мокрого мозга...

– Рыхлой воли...

– Скользкого внимания...

– Слышите? «Володя! Володя! Я тебе говорю. Ты в „Пиковой даме“ помнишь?.. Володя!!»

– А Володя уж давно ничего не помнит.

– Да разве можно в такой атмосфере что-нибудь помнить?

– А я скажу: разве нужно что-нибудь в такой атмосфере помнить?

– Помнить всегда нужно.

– Не согласен, а главное, память не согласна: и ей хочется воскресного отдыха. Так для нее же это праздники. Помилуйте, ей говорят: «Дуняша, я уйду, не знаю, когда вернусь, можешь не дожидаться». И она, как потная служанка, у которой пятки болят от беготни из кухни в лавку и из столовой в кухню, конечно, ложится спать.

– Так что память – служанка?

– А то что же? Госпожой никогда не будет.

– И у нее есть и лавка, и кухня, и столовая?

– А то как же. И много других помещений, – светлых и темных, чистых и грязных.

– И гостиная есть?

– Больше всего парадных комнат – для гостей; а в непарадные иначе как с разбором не пускает. Тоже научена: так вам скажет «барина дома нет», что в другой раз не толконе-

тесь.

– Так что служанка хорошая?

– Славная Дуняша. Ну, конечно, не без недостатков... Не в ту лавку пойдет...

– Рассеянна?

– Без обеда оставит...

– Забывчива?

– Тоже не без увлечений – сегодня с одним, завтра с другим...

– Непостоянная?

– Посуду бьет... Ну да кто же недостатков не имеет? Только у нее недостатки такие противоположные, прямо не поймешь. То непостоянство, а то пристанет, пристанет – ну не отделаешься: хочется забыться иной раз, а она все на глазах – вертится, вертится... И все поправляет, на место ставит. Иной раз чего-нибудь неприятного не заметил или просто простить хочешь, поверить хочется – не допустит, пальцем укажет, да ведь с какой свирепостью!.. Не подпускает.

– Неужели злая?

– Кто ее разберет. А иной раз наоборот, и скажешь ей – «брось, не стоит, выкинь», ну какая-нибудь там гадость, шпилька, ленточка, сухой цветок – так ни за что: и днями, и ночами все об одном. Ну как будто ничего другого и на свете нет.

Пусть даже время рукой беспощадною

Мне указало, что было в вас ложного,
Все же лечу я к вам памятью жадною,
В прошлом ответа ищу невозможного...

– Это про нее, про Дуняшу: то все растеряет, а то жадная.

– Жадная?

– Ненасытная.

– Слышите? Володино внимание опять расталкивают.

– На кого же?

– «Шаляпин или Баттистини». Должен объявиться или правым, или левым.

– А ему так хорошо на золотой середине!

– Мало ли что. Бывают минуты в жизни, когда все ребром становится. Шаляпин или Баттистини?..

– Вяльцева или Плевицкая?..

– «Кальян» или «Дюшес»?

– «Раннее утро» или «Утро России»?

– Незавидное Володино положение: его честь на карту ставится, от «да» и «нет» зависит его доброе имя, а он только промычатать может.

– А смотрите, этот юнец, который с ними; он еще держится; одна рюмка, и он также покатится по наклону беспамятства, но пока еще держится; и как *уважает* речистого товарища. Уважают за его пьяность, за авторитетную логику его пьяности, за высокие предметы его пьяного разговора, а главное – за убежденность; смотрите, как он рад, что не ему

вопрос ребром поставлен; он себя спрашивает, что бы он ответил.

– Да, он понимает, что можно на Шаляпина положить полтинник, но он не понимает еще, что можно за Шаляпина душу положить.

– А тот продолжает полагать?

– Слов не слышать, но душу кладет.

– Счастливые...

– А вы разве не бывали?

– Причин к счастью было, конечно, больше, чем у этих бедных, но...

– Самого счастья меньше?

– Ведь счастье измеряется не тем, большое или маленькое, а тем, полное или неполное. Ну а при анализе разве может быть полное счастье?

– Да, анализ... не отдам.

– И я не отдам.

– Ну как же отдать – половину жизни.

– Лучше всю отдать.

– Уж это никогда!

– Верно! Ничего не отдавать! Все в памяти хранить, в настоящее переселять, и насыщать, и пресыщать данную минуту, чтобы прошлое не увядало, чтобы настоящее распухло от прошедшего, а прошлое вбирало бы в себя каждую новую секунду, ею вырастало, ею расцветало; чтоб не было последнего аккорда, а чтобы первый всегда звучал сквозь вереницу!

– И чтоб немолчность вереницы превращала прошлое в настоящее!

– Чтоб настоящее, поглощаемое прошлым, самим собой питаюсь, насыщало будущее, предназначенное на съедение!

– А что, кроме Музыки, осуществит это взаимное питание на смерть и взаимное съедение на жизнь?

– Из дел человеческих – только Музыка. Единственное текучее искусство, единственное одного измерения, единственное, которое как точка: все сходится, все расходится.

– Расширение точки до беспредельности...

– И слияние беспредельности в точку.

– Окружность без центра...

– И центр без окружности.

– Текучесть из себя.

– И текучесть в себя...

– А правда, ведь текучесть – сама сущность музыки. Все другое надо положить на ленту памяти, а музыка сама течет.

– И подумайте, она без пространства! Какое счастье отрешиться от одной категории! С тремя измерениями жить в одном – какое богатство бесполезности!..

– Видеть нельзя, смотреть не нужно...

– Упраздненное «где».

– Осуществленное «нигде».

– Опровергнутое «езде».

– И торжествующее «когда». А «где» существует без «когда»?

– Никогда. «Когда» существует, а «где» мешает.

– Да, конечно: «когда» бестелесно.

– А «где» указуемо.

– Музыка есть бегство из «где».

– И спасение в «когда».

– Но без спасения, с возвращением в «куда».

– Последнее спасение – «всегда».

– Оттого в картинах вечного блаженства ангелы играют на музыкальных инструментах...

– Конечно, немолчность есть «всегда».

– И оттого они залиты светом.

– Оттого. Свет – самое бесплотно-текучее «где», а музыка есть плотски текучее «когда».

– Так. Свет – наименьшая плоть в пространстве.

– Музыка – наибольшая плоть во времени.

– А смертный человек не может *зрительно* осуществить бестелесное иначе как в *наименьшей* плоти плотского...

– Свет.

– И в *наибольшей* плоти бесплотного.

– Музыка.

– И вот почему в *картинах* вечного блаженства ангелы играют...

– Осуществляют то, что наименее бестелесно во времени.

– И утопают в лучах...

– В том, что наиболее бестелесно в пространстве.

– Значит, наименьшая телесность в пространстве...

– Свет... Что же?..

– Соприкасается с наибольшей телесностью во времени...

– С музыкой. Совершенно верно.

– И там, где свет переходил бы в музыку, там был бы мост из пространства во время.

– Перелив света в музыку есть разрежение пространства во времени.

– А почему, собственно, музыка есть наибольшая телесность во времени?

– Вы ли это?

– Нет, я хочу определения.

– Извольте, но вы же знаете.

– Я знаю, но знания не довольно, я хочу формулу; я потом вам скажу, для чего. Ну-с, музыка есть наибольшая телесность во времени – почему?

– Потому что только в музыке звук находит форму, а без формы нет телесности.

– Прекрасно сказано. Это мне почему-то вдруг напомнило, что Жорж Санд говорила об искусстве: «Искусство – не что иное, как форма».

– Искусство есть телесность того, что не имеет тела. А без формы нет телесности, значит...

– Без формы нет искусства?..

– Значит, нет.

– Но это еще не значит, что, как говорит Жорж Санд, искусство есть *не что иное*, как форма, что оно есть *только*

форма.

– Видите, та же Жорж Санд где-то сказала, что реакция всегда обращает внимание на одну сторону вопроса – на ту, которая оставалась в *пренебрежении*.

– Ох, вы искусник насчет золотых средин.

– Середины мы во всем любим, не в одних дилеммах, во многом, начиная с артишоков. А теперь скажите, зачем вам нужна была формула, если не для себя?

– Я думаю о других. Если бы меня другой спросил, то как бы мне ответить, чтобы понятней было?

– Кто же вас спросит?

– А я думал, что бы я сказал, если бы, например, Володя поинтересовался, почему музыка есть наибольшая телесность во времени.

– Успокойтесь, никогда не спросит. С него довольно, что Шаляпин – наибольшая телесность в пространстве.

– И все-таки меньшая, чем он сам в данную минуту; смотрите, сколько ему надо места, чтобы выйти.

– А сколько надо будет времени!

– И слияние пространства и времени в движении? Так, кажется, по вашей теории?

– Блистательнейшее доказательство.

– Тушат свет, и Володю просят выйти...

– Мост между пространством и временем.

– Кажется, он с лестницы падает!..

– Разрешение пространства во времени.

- Бедный Володя!
- Не *вечное* блаженство.
- Дойдет ли домой?
- Из «где» в «куда»?
- Наверно, заблудится...
- Из «куда» в «никуда».
- Еще в участок попадет...
- Из «никуда» в «когда».
- И, наверное, надолго.
- Сгущение времени в пространстве.
- До «Раннего утра».
- Пока Дуняша не проснется.

Москва,

19 октября 1911

12. Вечер мелоластики

Татьяне Федоровне Скрябиной

*Бог дает вам лицо, а вы себе делаете другое.
«Гамлет»*

– Послушайте, эти туалеты прямо невыносимы.

– Не правда ли?

– Платье не платье...

– Рубашка не рубашка.

– Шляпа не шляпа...

– Котомка не котомка.

– Что это такое?

– Избранные натуры.

– Ага, это то, что в «новейшей литературе», теперь уж устаревшей, называлось «жить красиво»?

– О нет, даже не это. Ведь жить красиво у господ Пшибышевских всегда значит – кого-нибудь мучить. А это так безобидно... Это оскорбляет чувство красоты, но...

– Не одно чувство красоты, а и чувство жизни, как всякое искажение, как всякий «наперекор».

– А, это другой вопрос, и тут, действительно, обидно видеть, что именно те, кто задается задачами искусства, те больше всего увлекаются этим «наперекорным» направлением.

ем.

– Они думают, что искусство есть выход из жизни.

– Когда оно есть лишь *продолжение, цветение* жизни.

– К чему это стремление быть непохожим на других?

– Не правда ли? Эти глаза, смотрящие куда-то «вон», мимо людей. Как жалко видеть женщин, которые добровольно себя уродуют, которые, вместо того чтобы свою же природу развивать изнутри внаружу, оставляют ее в сонном, неразработанном виде, а заимствуют снаружи чужое или выдуманное и в этом чужом полагают сущность своей личности.

– Правда, лучше полная невоспитанность, чем такая ложная. Это какое-то затаптывание природы.

– Надгробная плита, запрещение жить. Знаете, что меня всегда поражает? Остановка жизни, постоянное «на полпути». Ведь вот посмотрите, все это новое увлечение пластикой, танцами. Ведь танец есть жизнь выше жизни, это нечто большее, чем ходить, это упразднение пут, а они, эти дамы, «любящие» пластику и танец, они в жизни спутаны в собственных, самими ими выбранных оковах. Вы слышали когда-нибудь смех? Я видел только улыбки – остановка на полпути.

– Верно, верно, они запрещают себе смех.

– Запрещают или просто не смеются, но только самое высокое, сияющее, дивное, что есть в человеческом облике, – улыбка, – у них застыло на первой ступени. А ведь улыбка – это первый зародыш истины в человеке: ребенок нико-

гда не улыбнется, если он взаправду не радуется. Какой же грех останавливать, замораживать улыбку! И какой же грех улыбкой лгать!.. Нет, нет, раскрыть себя – вот что такое искусство.

– И это же есть жизнь.

– Очевидно, потому что сокрыть себя – это есть смерть...

– И конец искусству?

– Конец всему.

– Я понимаю, почему люди жизни не любят эстетов.

– Нет, нет. Как говорила одна барыня – *c'est un недоумение*. И вина на стороне «эстетов». Когда искусство уродует и калечит, я понимаю, что предпочитают взять ружье и идти в болото. Да я бы предпочел видеть свою дочь мокрую, краснощекую, в болотных сапогах, чем такой «избранной натурой», в сандалиях, с глазами, смотрящими «вон».

– Да, но болото, дождь, осока – все это не искусство, это жизнь, просто жизнь, без искусства. Хочется «иного».

– Так надо идти в «иное», но надо взять с собой все это краснощекое здоровье и с ним вместе идти в искусство, и идти *от жизни*, а не выходить из жизни и потом искать искусства – никогда не найдете.

– Что же, по-вашему, кто-нибудь из педагогов это понимает?

– Только Далькроз, больше никто. А кроме него и, конечно, его последователей, все художественное воспитание прямо *построено* на выходе из жизни. Какое же искусство? Ре-

месло, а не искусство.

– Ну и техника тоже.

– А! Вот оно! Техника! Я первый за технику во всех искусствах, только не в живой пластике.

– Почему же?

– Потому что техника в пластике есть убийство жизни. Во всяком другом искусстве говорят ученику: «Ты должен изображать *жизнь – жизнь* сущность искусства, – но сам ты не сможешь, вот тебе техника в подмогу, без техники и жизни не будет». А в пластике ему говорят: «Ты ходить умеешь? Так это не надо. Тебе Бог дал ступню с красивым изгибом, с гнущимися красноречивыми пальцами? Мы их спрячем в тупой башмачок. Твоя походка могла бы быть похожа на бег Дианы? А мы тебя поставим на носки, перенесем твой центр тяжести с перпендикуляра, проходящего от головы в ступню, перенесем его в кривую через колени – и будешь ты семенить и дрыгать, вместо того чтобы богиней выступать». Вот вам техника. Разве это не убийство?

– Ну да, вы берете балет, и даже старый балет, а вот эти все...

– Эти все психо-мело-мимо? Мимо, мимо, мимо!

– Нельзя же всегда каламбурами доказывать!

– Не каламбур, не каламбур – созвучие.

– Но доказательство?

– В смысле воспитательном я уже говорил вам, и вы даже все время со мной соглашались. Что мы сейчас видели на

сцене? Ведь когда глаза «вон», то, значит, мимо. Когда танец превращается в сомнамбулическое блуждание, то, значит, мимо. Когда характер вместо того, чтобы проявляться, спрятан, значит, мимо. А если хотите с более специальной, уже прямо пластической точки зрения, то есть с точки зрения сочетания живой пластики с музыкой, то тут уж совсем мимо.

– Мимо чего?

– Мимо ритма.

– Началось!

– А что же вы хотите? «В начале был ритм», – Ганс Бюлов это сказал.

– А у вас всегда в конце приходит ритм.

– Что у меня – не знаю, но знаю, что другим с этого надо начинать.

– А без этого?

– А без этого нет базы, нет принципа. Без этого ощупь, а искусство и ощупь несовместимы. Нужна база.

– Хорошо, база чему?

– Движению. Ведь движение – такой же материал искусства, как мрамор, краска, звук. Ведь их обделывают, подчиняют известным требованиям, их распределяют; как же не распределять движение? Я еще понимаю – в драме, там есть привходящий элемент – слово; можно сказать, куда ни шло, что внимание им поглощено; понимаю в опере не обращать внимание на движение, то есть не понимаю, но до некоторой

степени прощаю, то есть нет, совсем не прощаю, ну все равно, – но в пластике, которая есть не что иное, как распределенное движение, как в пластике оставить его без руководящего принципа?

– Как – без руководящего?

– А чем же, например, они руководствуются?

– Пластическим чутьем, сознанием того, что красиво.

– Это руководство для позы, а не для движения.

– Ну, тогда они руководятся чувством: движения радостные, грустные.

– Это для руководства движения в пространстве: движение вверх, вниз, вбок, движение мягкое, напряженное – все это категория *пространства*, и она действительно может найти себе руководство в самом человеке. Но категория *времени*? Как вы обеспечите или как эти дамы обеспечивают медленность и быстроту, когда они достигли радости и грусти?

– Я полагаю, совпадением с музыкой.

– И я полагал бы так, но вспомните, что мы сейчас видели в этом отношении.

– Вы находите, что совпадения не было?

– Были встречи – на сильных частях такта почти всегда, говорю «почти», на слабых уже реже, а промежуточные изгибы ритмического рисунка совсем не находили себе выражения в телодвижении: такая фигура, как пляска гномов на музыку Грига, отбивала четверти, в то время как в музыке

восьмушки.

– Это правда. Значит, при другом рисунке в осьмушках годился бы тот же самый танец?

– Верна ваша мысль, но выражена неверно. Правильно было бы сказать: при другом рисунке в осьмушках тот же танец годился бы так же мало, как и при первом.

– Понимаю. Телодвижения должны отмечать ритмический рисунок, а не такт.

– А не такт; такт есть канва, под разными рисунками одинаковая. Когда вас попросят на бумаге начертить вышивку, разве вы будете канву чертить? Маленькие гномы, которых мы сейчас видели, своей хромой походкой рисовали канву григговской музыки, а не рисунок. Рисунок оставался в музыке: ухо его слышало, а глаз был обманут. А когда глаз обманут, его хочется закрыть. Где же тогда пластика – зрительное искусство?

– У вас все это так ясно выходит.

– Неумолимо ясно. И потому, когда я вижу туман там, где должна бы царить ясность, я неумолим. Это есть непонимание основной сущности того, что такое пляска. Пляска не есть пластика во время музыки, она есть слияние пластики с музыкой. Движение есть слияние.

– Слияние чего?

– Видимого и слышимого. Только в движении – глаз и ухо сливаются...

– Во что?

– Ну, конечно, не в третий орган – в совокупном восприятии. Посмотрите на дерево в ясный, тихий день, а в другой раз с закрытыми глазами прислушайтесь к шуму ветра: оба органа работали врозь. Но что же нужно, чтобы они слились и чтобы в одном совокупном восприятии вы и увидели дерево, и услышали ветер? Нужно, чтобы под напором ветра ветки дерева задвигались. Дети умные, они в этих случаях говорят, что они «видят» ветер.

– Правда, дети видят ветер, а поэты слышат дерево.

– Ну, в таком случае мы все поэты, ибо кто же из нас не говорил о шуме деревьев. Но представьте себе только, что ветер дует, а дерево вздумает не шевелиться! Ведь вот что делают наши психо-мело-пласто-мимички. А представьте себе еще худшее: ветер дует, а дерево вздумает по-своему колыхаться – как ему более нравится! Вот что мы видели во время «Смерти Озе» Грига.

– Вы безжалостны.

– Не я, а закон безжалостен, если вам непременно хочется этого слова. Но разве вы скажете, что дважды два – безжалостно? Оно безжалостно для того, кто любит стеариновую свечку, но кто радуется четверке как празднику, для того дважды два все равно что колокольный звон. Если кто-нибудь жалок, это вовсе не значит, что тот, кто на него смотрит, безжалостен. Это ужасные принципы, если можно назвать принципами отсутствие таковых. Это отвратительная повадка смягчить то, что должно быть твердо.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста...

– Нет, не пожалуйста, а почему никому в голову не придет статую согнуть, если она не пролезает в дверь, а принципы, суждения, оценки гнут, как лист бумаги, когда он не входит в конверт!

– Да что вы петушитесь?

– Или есть справедливость, или нет ее. Я вполне понимаю тех, кто не хотят ее; но у нас хотят, чтобы она была, но чтобы при этом у нее было размягчение спинного мозга!!

– Вы сегодня в ударе.

– То есть я думаю, что у меня удар сделается. Когда я вижу, сколько труда, изобретательности, соображений люди тратят на то, чтобы осуществлять ложь; когда я вижу, сколько труда, денег, хлопот другие люди тратят на то, чтобы их поддержать и поощрить; когда я слышу гул и плеск толпы...

– Которая, однако, в восторге...

– Которая думает, что она в восторге...

– Ну как же можно думать, что в восторге?..

– Можно, когда никогда по-настоящему в восторге не был...

– Так когда вы видите и слышите все это?..

– Я вам сказал – у меня будет удар.

– Почему?

– Вы знаете, когда при вас кто-нибудь говорит с ошибками, вы слушаете, а мысленно поправляете? Вы знаете что-нибудь более утомительное? И это один человек, а если все

кругом вас так же говорят? И этот один ведь не вечно говорит – поговорит, поговорит и замолчит, а если никогда не молчат?

– Надо оглохнуть.

– Так я и сделал.

– Ну, значит, вы обеспечены от удара.

– Так что если бы вы были доктор, вы бы сказали: «Это нервы»?

– И больше ничего.

– И очень бы ошиблись. Что должно быть ритмическое *воспитание*, когда я, только *думая* о ритме, занимаясь им теоретически, совершенно вылечился от нервов.

– Лечение почвой?

– Bravo! Лечение почвой и лечение воздухом зараз.

– Послушайте, я не хочу смеяться, а я хочу серьезно вас спросить: вы правда за ритмическим воспитанием признаете такую, не только физическую, но и психическую силу?

– Вы еще сомневаетесь? После того что я говорил и писал? После моей ссылки на то, что говорит Лев Толстой о «радостных» и «блаженных» минутах, которые испытал Левин на сенокосе, когда в работе наступала автоматичность? Вы сомневаетесь?

– Нет, нет, в этом не сомневаюсь; я не так выразился. Я хотел сказать – не психическую, а нравственную силу. Действительно ли вы признаете таковую за ритмическим воспитанием?

– Вот что. Вы знаете нашу общую знакомую барышню – не будем называть ее, или назовем, как мы всегда о ней говорим: «кривляка»...

– «Ротик бантиком»?

– Ну она, конечно. Отчего она такая? Оттого, что каждое ее движение продиктовано своим, ее собственным желанием, которое всегда одно: обратить на себя внимание, понравиться, очаровать. Не говоря о том, что это единственное желание, будучи единственной пружиной ее движений, придает им характер однообразия, потому что все выражают то же самое, не говоря, значит, об эстетической неценности ее движений, посмотрите, чем занят ее ум, чем заселена ее мысль? Если и есть мысли, то они никогда не одни, никогда не заполняют мышления, в нем всегда два квартиранта: мысль данного момента и всегдашняя, так сказать, хроническая мысль все об одном и том же. Значит, пока она сама себе предписывает, ее движения будут выражать то, чем занята мысль, а мысль не будет занята другим, как проявлением себя в наружности. Теперь представьте себе, что является такая сила – эта сила музыка, – которая берет ее в свою власть, забирает все ее внимание, подчиняет себе все ее телодвижения. Она не может в ритмической гимнастике продолжать «показывать» себя, когда она должна музыку показывать: если она только начнет по-старому *себя* показывать, это будет «ошибка», учитель остановит, и она *должна* будет послушаться и поправить ошибку; потому что, если ей ска-

зять: «не кривляйся», она ответит: «я не кривляюсь». Но если ей сказать: «В этом месте музыка ясная, твердая, резкая – нет места ласке и колыханию; ритм ясный, но трудный, переменчивый; если будешь думать о другом, никогда не попадешь; вон маленькие попадают, как у них хорошо выходит и как они довольны, радостны, а ты как связана, занята другим, завязла в своем, чужое не выходит; надо забыть себя, надо отдаться, надо подчиниться, только подчинившись, человек освобождается» – если ей так сказать, думаете ли вы, что в ее мышлении останется место для прежней заботы о себе и о впечатлении, производимом на других? И не видите вы разве, что здесь не только отрицательное лечение – в смысле изгнания духа суеты, но и положительное – в смысле освобождения внутреннего «я» от загромождавшего его сора и опростания места для всего того, что в это бедное засоренное мышление не могло проникнуть? Понимаете?

– Понимаю.

– Мало кто понимает. Даже многие родители, уже отдавшие своих детей к Далькрозу, и те не понимают. Они как будто и радуются успехам, а все же спрашивают – что же дальше? Им хочется знать, что же их дети из этого сделают? Они не понимают, что великая вещь *быть* другим и что когда *другой* человек делает, то, что бы он ни делал, он будет делать *иначе*, а, значит, если он будет лучше, то будет и делать *лучше*.

– Вы, кажется, опять впадаете в ваш пророческий транс.

– А вы сказали, что вы не будете смеяться.

– Простите.

– Прощаю. И прощать нечего. Привык. И потом, я вам сказал, я вылечился – ведь это тоже нервы.

– Что?

– Сердиться за убеждения, желать переубедить. Все это сор житейский, психологический мусор.

– А что же надо?

– Тем, кто верит, делать надо.

– А кто не верит?

– Надо видеть.

– Поверить?

– Поверить.

– А ведь вот сегодня вечером хлопали, кричали, обступили эстраду – во что-то поверили.

– И вы верите, что они поверили этой психо-мело-ми-мо-полупластике?

– Не поверили?

– Не скажу, что лицемерие, но разве чувствовался тот очистительный восторг, что изгоняет всякую заднюю мысль, выжигает всякую лесть, перекрикивает всякую оговорку, опрокидывает всякое сомнение, ставит на ноги всякое колебание и всякую робость устремляет вперед?

– А когда приедет Далькроз...

– Тогда будет *другой разговор*.

*Москва,
22 октября 1911*